

(Простая история об Анечке и Венечке, Мусе и Манечке. Или приключения отставного художника, набросанные им воздушною кистью в умозрении и переложенные автором на бумагу).

Начало см. в альманахе «Орёл литературный» №13

7. ПОКАЗАНИЯ ЦВЕТОЧНИЦЫ. ПРИЗРАКИ

От кофейни перед мостом, с одной стороны, и с другой, от газетных киосков с прилепившимися к ним лотками несло сразу – сладкою шоколадною горечью, молочным взбитым земляничным коктейлем, сахарной пудрой и ватой (приятно прогорклой, иные несли её на палочке), попкорном (в пакетиках), то есть жареной кукурузой, ну и, слава те господу, жареными семечками (в кулёчках, свёрнутых из газетки «Орловского вестника», как встарь, при Иване Бунине), которыми, подсолнуховой шелухой, значитца, и старые, и молодые в охотку заплёвывали мост, что и по сю пору в Орле есть шик, признак хорошего тона, не в каждом ведь доме подсолнухи и семечки чтоб. Веня и сам прежде форсил, поплёвывал, будучи помоложе, теперь вроде стесняется. Когда-то нафталином и канифолями, да с дётём-то, да касторовым маслом для смазывания ботинок, теперь от дамочек тянуло волнами – брусничными, царскими, с Орловского полесья, как от Екатерины, царицы, которая принимала брусничные ванны, – парфюмер свой тут, нюхач, ежели

по-русски, завёлся по производству полесских букетов. Но это от дорогих и изысканных дам тянуло тонко, обычно же несло – вёдрами и даже ваннами клубничными, то есть от тех, что попроще, от мужчин – густо мускусным, псовым, можжевелевым да смолистым, самцовым, значитца, ароматом и запахом, правда, не тем, не то что законным табачком от Вени, пахучим и нежным. Право, даже собачки, которые гуляли с ими на поводке, и те были наодеколонены, да что там, духами spraysнуты, и не дешевыми... Надо сказать, всё больше были болонки и пудели в разных атласных костюмчиках и даже в носочках; встречались, также надушенные: лягавая, как бы вся в шоколаде, в одном экземпляре; и сразу в нескольких – препротивные мопсы; они с особенной силой пованивали, сбрызнутые сразу и всеми и даже никак невозможными смесями, от которых Вениамин Ивановича водило по мосту, да что там, его поташнивало, он падал, то есть едва совсем не упал, это как же – ежели мордой о тротуарную плитку... Веня Ваныч сходил на асфальт. На асфальте, ежели чё, будет мягче. Вообще допались дамочки и мужики до благоуханностей, вместе с собачками, надо ж такое, псины и те выкобениваются, дорвались до европейских парфюмов. Почём зря их обливают. Зряшно так тратятся. Чрезмерно тоже оно нехорошо. Слишком уж приторно. Денежки не жалуют. Правда, зарываются. Такая жалость. Нет на

них Манечки. Да и Мусечки тоже, в Сибирь от-
была Мусечка со всеми своими женственными
наилутшими наидушистейшими тонкостями
и смесями. Гаснет, как свечечка, угасает от во-
дочки Евангелина Иоанновна. Устал Венечка...
Некому Орёл надоумить...

Свет, правда, делался всё призрачней, мост
каким-то хрустальным – покачивался мост...
Голова у Вениамина Ивановича не то чтобы про-
зрачневела, но определенно светилась, будто бы
лампа, или так луна наливалась... Будто таким
плафоном по мосту ходил Вениамин Иванович.
Как-то странно и люди слонялись... Какие-то
странные извлекались звуки из аппаратов,
которые они при себе носили, с которыми сце-
плялись, а то которые и на себя надевали, –
от наушников, от смартфонов, светящихся,
от роликов, на которых, виляя между пароч-
ками, проносились по мосту пацаны, со вжика-
нием, набравши скорость при спуске с горы, от
шин велосипедных (до дюжины крутилось тут
велосипедистов) с вертящимися, блестящими
(колеса на бегу, как диск динамо-машины) спи-
цами, – Вениамин Иванович снова вздрагивал,
припоминая спицу Евангелины Иоанновны, ту,
востренькую, на одном конце, как у шильца, и
на другом с крючком, – которую не то выгре-
сти из под кровати, из угла с паутиною, не то
сразу желала раз и – проткнуть Мусечку-то
Евангелина, бес её попутал, Иоанновна... А то
(от гимназии, в которой учился Лесков) взле-
тала на мост с урчанием и лаем, будто иволга
или кошка какая, с таким вот птичье-звериным
выхлопом-лаем-мяуканием, японская «Ямаха»,
мотоциклетка самурайская (в десять тыщ дол-
ларов, под седоком-шлемоносцем в металле и
коже с головы и до пят, – чтобы они сгнули, все
эти черти, которые с жиру бесятся, поганки рос-
сийские и живущие в поганстве – от папаш пуза-
тых с мэрий да из обладминистраций, плешь
они Вениамину Ивановичу проели, чтоб они
сдохли, бесы, чтоб они выродились, чтобы семя
их жалило их в пядю до скончания века их, как
заповедано им в Вечной книге, от сотворения
бытия самого, от времени оного).

Мост плыл под ногами Вениамина Ивановича.
Опоры шатались. Вениамин Иванович шёл
на угол моста, к киоску цветочному, под кото-
рым торговала расплывшаяся с большими нога-
ми-ступами (совсем уж не ходят) чокнувшаяся
от боли тётя Клава, примостившись на табуре-

точке с полу-мешком (небольшим таким) семе-
чек у ног, со свернутыми заранее газетными
кульками сбоку мешка на другой табуреточке
и стаканчиком посередке – купить всё ж таки
семечек: душу, плюясь, себе отвести, как-то
посредством лужгания семечек успокоиться.

Когда это было – вчера или сегодня; да нет
же: сегодня ещё едва только наступило, поза-
вчера, кажется, да, Вениамин Иванович дви-
нул, нет, не к Клаве, напрямик к тетё Тамаре,
на другой угол, который со стороны Михаила
Архангела и памятника Николаю Лескову.
Там, под липами, сидел, развалиясь на бронзо-
вом пьедестале-диване коренной орловский
знаменитейший писатель, как бы озирая въяве
плоды подвижнических своих, зело благолеп-
ных трудов. Ибо почивал он в хороводе из соб-
ственных персонажей, взнесенных округ него на
колонны витые, а у косога Левши так столп ещё
и на отличку был – с портиком и с узорочьем.
Вениамин Иванович туда не ходил, боялся отче-
го-то ходить туда Вениамин Иванович. Если по
честному, там, среди этих фигур, Вениамину
Ивановичу как-то бывало страшно... Во вся-
ком случае, не по себе... Если получится, мы
ещё вернёмся к обозначенным, вознесённым на
колонны фигурам, точнее, фигурантам обще-
российских уголовных дел, злодеям и равно
ангелам, но не сейчас, несколько погодя, туда,
ближе к финалу... А если уж сойдутся совсем
обстоятельства, то пройдемся и дальше, по
Васильевской улице до второй Посадской и даже
Пушкарной вслед за бессмертными и по сю пору
слоняющимися тут, по Орлу, там и сям, в глухих
переулочках, пройдем за не умирающими бродя-
чими литературными персонажами... Да, шата-
ются тут и там...

Вениамину Ивановичу хотелось прикупить
букетик ландышей.

Вообще Тамара славилась тем, что составляла
чудные такие букетики из мелких всяких лесных
да полевых цветов, нередко с ягодкой, которые
соединить один с другим и в голову не пришло
бы кому другому. Но в том-то и заключалась их
тайная и скоротечная прелесть. Собственно, она
и жила тем, сим составлением. Жила она от поста
до поста, не разговляясь и питаясь, кажется,
одними кореньями и корешками да супчиками
и салатами из тех же весенне-осенних цветов.

Лечилась отварами. Перебивалась, торгуя чем ни попадя со старенькой дачки – петрушкой да укропчиком, редисочкой, хреном, забывающим дух, ядреным, уже и подзабытой крепости (на фоне генномодифицированной всяческой гадости) чистейшим чесночком с частыми зубчиками, духовитым до жгучести, всякою прочею меленькой травкой – с полей и из леса: первоцветиками (собирала их, только ольха запылит), начиная с бубенчиков белоцветника, лютиков и ветрениц, и кончая майскими ландышами, первыми синенькими тихонькими ненаглядными незабудками, связочками июньской земляничной позёмки ещё в белом цвете, в июле цветочками-огоньками куколки, цветами – мотыльками. Вообще же она обожала белое. Не в память ли о подвенечном платье, которое и у ней было. В мае же, в начале июня не случайно она торговала такой диковиной, как седмичник-семицветик белый, в июле баловала публику гусь травой, подмаренником льновым, в ту пору, когда только тронулись в цвет верхушечки, будто в тумане, словно бабочки голубянки отрывались от кустов и летели над полем, над цветами... Три-пять отуманенных веточек подмаренника или семицветика товарка пересыпала метёлками мятлика в маковках-зёрнышках, оплетала вязелью, горошком мышинным; случалось, как-то увидел Веня, над букетиком покачивалось коромыслице купены душистой с чередою колокольчиков белых, никнущих долу, к земле...

И сама она в неизменном драповом убитом жакете, истончившемся от пыли и стирки, с просвечиваемой под ним нательной рубахой, в креповой плиссированной юбке, давно уж разгладившейся, в стеганых бурочках на калошах (зимой), в чоботочках, не раз прошитых смоляною ниткою (по весне и летом), в неснимемой с головы косынке сатиновой, голубенькой, однако же выцветшей под солнцем от линьки до цвета ландышей, вся сама она была тоже, будто привядший букетик, простенький... Тётя Тамара из Вень Ивановичева подъезда, собственной персоной, дух или ангел (как есть во плоти), с голобочком, будто съехавшим с пластинки из под патефонной иголки, который Веня едва успевал подхватывать, отвечая ей, чтобы тот не упал и не разбился совсем оземь от едва слышного шёпота. Случались же у Тамары нечаянные тихие странные проповеди и монологи, прорывавшиеся в ней, изнутри неё, словно из другого человека.

– Ах, Тamar Михалвна, не можно ль умереть от запаха ландышей?! – не случайно, не случайно испросил Вениамин Иванович, взявши из рук Тamar Михалвны букетик.

– Такое скажите... Живите себе на здоровье, Вень Ваныч! Бог в помощь Вам!

Вень Ваныч, несмотря на возможную смерть, всё же нюхнул от букетика ландышей и впал как бы в прострацию. Хорошо, что не помер... Чуть ток, что не преставился. Но определенно, что съехал с катушек. Едва не поехала крыша у Вениамина Ивановича. От дивного запаха.

– Игде это я?... Улетел!.. – сказал Вениамин Иванович, отойдя немного от запаха. – Куды-т унёсся!.. Волшебница вы, Тamar Михалвна!

И ещё, постояв, продолжая нюхать, но уже будучи на месте, возвратившись из некоего цветочного путешествия, спросил Вениамин Иванович Тamar Михалвну:

– Голубушка, как долго отсутствовал я, то есть, здесь, на мосту, нюхая?

Тamar Михалвна прикинула. Посчитала, шепча губами...

– Дык, с четверть часа, как букетиком вы надыхивались. Можя, вечность. Даж сверх того.

– Гм...

Вениамин Иванович, впрочем, не стал вступать в пререкания.

С Тамарой Михалвной воспрещено, всё равно, что грех брать на душу.

– Я уж вдрогорядь один продала. Важному такому господину... Господин никак не должен был быть на мосту... – шепотком зачем-то изъяснилась Тamar Михалвна. – Ещё одним старушеницу, знакомую, одарила... Тож выпнулась. Как б ниоткуда. Ни с того ни с сего. А не положено ей... Чтоб гулять по мосту... Дале красавица образовалась... Такой красоты, что как от энтих цветов, тож умереть можно... Сама ж... – Тamar Михаловна для чё-т оглянулась, – сама... Цветочки ток для живых! – проронила Тamar Михалвна куда-то на сторону. – Ишь, домогаются... Самой же ей, барышне, ну никак нельзя. Даж невозможно гулять по мосту... Тут я и смекнула. Являются, потому что вы, Вениамин Иванович, пропадаете. Как бы от противного. Вот уж когда забеспокоилась я... Рано вам, Венечка... Срок ещё не совсем пришёл... Ан, вижу, счезаете... Как бы от, думаю, совсем не счезли, – Тamar Михалвна выдержала паузу и сказала: – в какой-нибудь щели... образовавшейся... – Что-то сбило с мысли Тamar Михалвну

и она не закончила мысли. – Однако же... Это не то что сквозь половицы... – обронила Тамар Михалвна, так, как бы между прочим, будто случайно, и зачем-то стала приглядываться к Вениамину Ивановичу. – Тут иные даже, – прошептала, – да, Вень Ваныч, тут-с вечные-с будут то, – Тамар Михалвна как-то вдруг и разом как бы даже не то что переменялась, передёрнулась в лице, враз изменившимся, как если бы встала за кафедру, перед студентами, значаща, да, было время, психологию преподавала Тамар Михалвна в Орловском университете, – вечные-с, Вень Ваныч, тут категории и времена. Вот куда вы, вот во что вы, Вень Ваныч, вляпались. Вы между стрелок застряли... – сказала Тамар Михалвна. – Точно... Путаник вы, Венечка. В процессы земные пытаетесь вмешиваться...

Вениамин Иванович едва не присел от неожиданности, с одной стороны, с другой, вроде как бы от страха, за содеянное то есть.

– Зацепили секундную стрелочку... – продолжала Тамар Михалвна. – Баланс мировой нарушаете... Желаете выскочить из него... Как бы не пропали завовсе, Веня. Издесь, на мосту, человеку стоит только чуть стронуться... Легко... Как уже и нет его. Всяк по своему пропадает и уносится...

– Между чего, чего? – спросил Вениамин Иванович. – В каку щель? Между каких таких стрелочек? Да ищё секундных?

– Во временную... – сказала с некою даже строгостью Тамар Михалвна. – И тем самым нарушили... Всеобщую, так сказать, гармонию... Сбили прицел... То-то, едва подошло ко мне это чучело...

– Чучело?

– Ладно, пусть будет манекен. Чем вам не нравится чучело? Мужеского пола... Ну, тип энтот, тот самый господин, ландыши который у меня брал. Глянула я на него, физия странная, не человек вроде, не живой будто... Я и спугалась.

Вень Ваныч внимательно слушал. Тут было не до шуток. Похоже, Тамар Михалвну, правда, и по сю пору потрусывало. То есть так помыслил про себя Вениамин Иванович.

– Да как же и не труситься, Вень Ваныч! – будто подслушала Тамар Михалвна. – Такой фронт! Такой фронт! Не глядя пятитысячную бросил, «без сдачи», сказал, да и откуда у меня с таких деньжищ сдача. Откедова, думаю, выпнулся? Кто такой? Что за личность?! Деньжищами, вона, ворочает, как миллиардер, прям сорит.

Не сразу я его распознала за давностью лет, то есть потому, что вбитого... Годочков то премного уж минуло... Я тогда на кладбище поторговывала, такими ж цветочками, помоложе была, его же мимо, между ворот пронесли, в гробу то есть, в лаковом и с винтами, здоровенная така дорогушая домовина, я ещё за край заглянула, – образина у бандюги склеенная, разнесло её перед смертонькой на мозаику... Вижу, однако, изначально личина нечеловеческая... Не ночевала душа там. И своя от неё прядает. Чё то меня потянуло, однако... Прошла следом... Сама видела, как его завинтили, как опустили в ямину да закидали комками с глиной, – Тамар Михалвна покрестилась, – нет, Вень Ваныч, не землёй... До Москвы стучало... Северный в Орле рынок он держал; опосле и наш, Центральный, и его хапнул. И вот, смотрю, значит, вбитый, закопанный, знаю, покойник, ниче же в нём не было и не осталось от человека, цветочками ж балуется, с чего эт... Старушенция же, мёртвая, ну та, которая опосле закопанного ко мне подошла, она не так, чтобы сильно, та поменьше меня напугала, – чё с неё, ветхонькой, хоть и с мёртвой, с пига-лицы, взять, право слово, богадельня. Гляжу, как былинку её по мосту носит, сердешную, – я уж сама её подозвала, поманила, так ручкою сделала ей, ну и – вручила букетик. Видели бы вы, Вень Ваныч, как мёртвые вмеют радоваться! Никогда б не подумала. Старушенция энта просияла вся! Верно, из блажных. Я ещё подумала, как бы от сияния косточки её не посыпались. Да видно, уберёт Господь! От этого ж бугая меня и по сю пору трясёт! Так и колотит. Его на разборке, на стрелке, слышь, вбили. Ножом под дых. Как рыбу – с под брюха и вдоль под грудиной до жабер самих вскрыли, по самый кадык. Знато вспороти. И, значит, вижу, не тада, а щас уже, смотрю, горло у него сокрыто, на горле – бабочка, бабочка ж под стоячим воротничком, тугим таким, накрахмаленным, крепким, будто из гипса. Для чего то прячет отметины. Прикидывается, будто живой... Сам же... мстить... – Тамар Михалвна до крайности взволновалась и выдавила из себя: – падла, вышел!.. Очухиваться вам, Венечка, надо. Гармонию наводить... Нельзя, чтобы по Орлу вперемежку с живыми шагались мёртвые. Да ище – нехорошие, по Михайлу Афанасьевичу Булгакову. Неприлично-с... Орёл-с – не бобок, Вень Ваныч! Что подумает Фёдор Михайлович Достоевский то? Невдобно будет как то перед Фёдором

Михайловичем, ежели всеми кладбищами и зарази наши орловские мёртвые выпнутя... Чё то не держит их там... Чё то они рыпаются... Время, что ли, нехорошее...

– Бобок... – раздумчиво произнёс Вень Ваньч. – Мёртвые, ххх... У нас живые сраму не имут... Мёртвых, так я бы и сам поднял... Чё там ни есть, Тамар Михалвна, они ходячих попрличней будут, в массе своей. Живые вот испоганились.

– Окститесь, Вень Ваньч, – с укоризною произнесла Тамар Михалвна. – Что же вам, совсем и не страшно! Наверное... Когда вы сами там уже, в подполе, одною ногой... – как-то так даже огрызнулась Тамар Михалвна, весьма непочтительно. – Нехорошая у вас компания, Вень Ваньч. А я то думаю, с чего они тут шляются... А они, вишь, с вашей то помощью, по протекции вашей, так сказать, законные наши территории осваивают. Расселяются тут... Не придёте в себя, бобок в Орле и почнётся... – пригрозила Тамар Михалвна. – Прямо отсюда, с Александровского моста. С серёдки его. И даже прямо сейчас. Во временную щель вы выпали, Вень Ваньч. Влетели-с. Да подзадержались... За некую забубрину ухватились. Может, заусеницу. Не хотите совсем уходить... Покидать, значитя, землю. Ни туда, и ни сюда. Застряли... Ни впрыгнуть совсем, ни выпрыгнуть. Чистой воды авантюра. Афёра кака-т. С того и почла крутиться сия карусель, с того и случился конфуз сей, мёртвые на мост поднялись... Такой вот тектонический сдвиг, бытие переворачивающий. При критической массе флуктуаций, – сказала Тамар Михалвна, – бывает, достаточно вздоха, Вень Ваньч, волоска, чтобы пустить, ну вот, скажем, сей мост под откос, со всем народом его населяющим в сей час. И не то что Орловскую станцию, но весь даже поезд вселенский. Тут, – прошептала как бы заговорщически даже Тамар Михалвна, – онтологический, Вень Иваньч, кувырок, видано ль, чтобы прах и на мост понёсса... А? – глаза у Тамар Михалвны окончательно округлились и даже немножко вытаращились. – Интересно, – продолжила между тем Тамар Михалвна. – Что там у нас на часах... В самом деле. Что у нас с циферблатом деется, имею в виду – классическим? Ручаюсь, Вень Ваньч, тут что-то не так. Уверяю вас: тут заковыка.

И с этими словами Тамар Михалвна зачем-то полезла в цветочную кладь – в китайскую клечатую клетчатую сумку, притороченную к

спинке ручной колясочки о двух колёсиках и двух гнутых ножках-дужках для упора, как-то вызывающе даже стоявшую подле чоботочков Тамар Михалвны, у тупых носочков её. Мурло с весенним дурманом прямо-таки пялилось цветами в Вениамина Ивановича.

Тамар Михалвна принагнулась к зеву сумки. Достала из чрева, пошарив в нутрях его, в прохладных цветочных сумерках, – что бы вы думали? – зеленый будильник знаменитейшего производства – Орловского часового завода «Янтарь», лопнувшего в перестройку. Взглянула на циферблат под мутным стеклом с сомнением, покачав головой. Поднесла механизм к уху. Послушала. Нет, с часами (и вправду) определённо было что-то не то, не в порядке что-то было с часиками.

– От, смотрите... Не тикают. Ну да. Как есть остановились. И вижу: не меньше, как с полчаса уже. То есть с момента нюхания и далее ежели брать с последующим разговором. С четверть часа, выходит, вы собственно одни ток цветочки нюхали. Как раз он самый – сгнувшийся промежуток. Тот самый, с явлением мёртвых... Вишь, Вень Ваньч, параметры сходятся. Однако... Часики должны уже были пойти. Очухались же вы... Пришли вроде в себя... Но чтой-то, смотрю, не идут. Никак вы продолжаете счезать. Определённо отсутствует... С того, с того, Вень Ваньч, и нет движения на мосту. Вишь, застыли хфигуры. Быдто впали в протрацию... Собственно мёртвые, оне пропали даж.

Тамар Михалвна встряхнула часы. Секундная стрелка не сдвинулась. Машина времени не заводилась. Преткнулась машина.

– Беда, – сказала Тамар Михалвна. – Правда, вам нужно как-то приходить в себя, Вениамин Иванович. – Нельзя, чтобы так долго... не быть... Впрочем, затрудняюсь с определением вашего состояния, Вень Ваньч. Однако же стрелку надобно отпустить. Слишком вы зацепились. Для иной твари и секунда на часах у Господа – вечность. Часы надобно завести. Времени положено идтить. Нельзя, чтобы птицам не петь. Кошки ж, Вень Ваньч, напротив, мяукать почнут. Орловцы в неистовство впадут от кошачьего визга. – И, заметив недоумение в лице Вениамина Ивановича, пояснила: – В виду издержек с производством потомства. Без движения воздуха котам не унюхать эссенций и феромонов кошек.

А вы видите, движения нет. Будто стекленеет воздух. Течение кошачьего рода, Вень Ваныч, задержится, а то и совсем прекратится.

– Да может быть, у них, у часов, собственный завод кончился, – попытался как-то сообщить Вениамин Иванович, не беря в голову кошек, отмечая пассаж с кошками и с воздухом, словом, увиливая от ответа.

– Э, нет, – отвечала Тамар Михалвна. И даже пальчиком Венечке погрозила. – Вчерась только заводила. А у них, слышь, недельный завод. Пружина механическая. Механизм безупречный. В Орле машина сделана! Тридцать лет пользуюсь, не останавливались. А тут...

– Часиков я не трогал Ваших, – настаивал Вениамин Иванович. – И как же, что я зацепил стрелочку? – заметил Вень Ваныч. – Чем? Чё то у вас не сходится, дорогая Тамар Михалвна.

– Психикой, – отвечала Тамар Михалвна. – Али не знаете, что часы в доме нередко даже останавливаются, то есть когда человек в нём дуба даёт, вмирает, значитца. Часы останавливаются... Зеркала трескают... Вы же читали Юнга, Вень Ваныч?! У него досконально и даж весьма хорошо про энто обсказано.

– Что же я – мёртвый?

– Не так, что бы так... Но вроде... Вроде того, Вениамин Иванович. Будто не знаете... Знаете вы всё...

Вениамин Иванович вздрогнул.

– М-да, время проскакивает... Что-то с им деется... – примиряюще сказал Вениамин Иванович.

– Точно, точно, куды-т бёгнет, – как бы пошла на попятную и Тамар Михалвна. – Проминается... Правда, иной раз как в ямину каку-т от валится... А то, бывает, что вертается... Возьмёт и – нахлынет... Так моченьки нет. Оно, вишь, с цветочками энтими быдто оборачивается к нам и возвращается... Давно я приметила. С того и торгую цветами. Помахивает... Колокольцами клонится... Поманывает... Отзывается в нас... Звенит да уносится... Пропадает... А вот послушайте, Вень Ваныч! Кажется, пошло... Ей-ей, сдвинулось... Чуете? ветер... И как бы в самой серёдке часиков между шестерёночек и колёсиков, в самой волосяной пружиночке... И даже в

цветочках. Позванивает... Бывает так, правда, как весною на кладбище, быдто веночками. Тихо так, тихо. Так тихо, что слышно, как травка на солнышке пучится. И мёртвые, значитца, переговариваются, не так, как ноне, а хорошо, так смирно и чинненько перекликаются, и даже, случается, отзываются, ежели призовёшь их.

– От послушайте! – и Тамар Михайловна положила часики с букетиком к уху Вень Ваныча. – С моста далеко слышно, Вень Ваныч. В иные места, таки, как центр Орла, сюда, на мост, времечко быдто бы само притекает и здесь как бы завязывается, в моих, от, цветах, далее же распускается... Механизм и цветочки как бы напояются им. Припадёшь вот к им и не оторвёшься. Завораживает время, Вень Ваныч.

Вениамин Иванович послушал.

И впрямь, как заслушался.

– Как чудно! И как страшно бежит! Безостановочно... Безоглядно... Тихий, от, ужас! А до чего же прекрасно! Особо, когда в цветах...

– Долго нельзя слушать. Спятите, Вень Ваныч. На который уж раз... Ладно, забирайте букетик да идите с Богом. Эй, эй! Часики то оставьте. Для чё они вам. Ну да... Вас, Вень Ваныч, не обессудьте, – и Тамар Михалвна как-то так просто и даже непринужденно сказала, как если бы ничего в этом такого особенного и чрезвычайного не было: – Да, Вень Ваныч, вас ноне ожидает вечность... Идите уж, с Богом...

Взявши букетик, как драгоценность, понёс пред собою, быдто самое время поперёд себя с цветочками нёс, понёс букетик Вениамин Иванович.

Фигуры на мосту приостановились.

Одна Евангелина Иоанновна шла поперёд него в платье белом.

Видел же Вениамин Иванович Голубь.

И белое платье в воланах, и тень от него... На тротуарной под чугунной решёткою плитке. И волос её, развившийся за решеткою по сонной и тихой воде, там, среди темных водорослей, где качались золотые кресты.

«Прекрасна, как привидение!» – подумалось ещё Вениамину Ивановичу.

Вениамин Иванович нагнал её.

– Разрешите вручить Вам, Евангелина Иоанновна!.. Одарить вашу особу букетиком!

Евангелина Иоанновна обернулась к нему.

– Шутите, Венечка! Ай, вправду! Неугомонный вы весь такой, Вень Ваньч!

– Позвольте, – на счастье!..

Вениамин Иванович бросил ландыши – дугою – через перила – на воду...

Евангелина Иоанновна препроводила цветы (и не сказать даже каким) взглядом.

Те упали как раз на кресты, светившие из глуби придонной. Кресты взволновались и затуманились...

Вень Ваньч очнулся... И хлюпнул носом, и подавился тихим плачем: «Где же ты, где ты, Анечка?!» – никого ж на мосту рядом не было...

Сам с собою разговаривал Веня.

И не замечал даже.

Ни Тамар Михалвны... Ни прохожих... Ни тётъ Кати... Ни пеших, ни конных... Ни мальчика... И луна сгнула, схоронилась за облаками... И ни живых, и ни мёртвых. Никого... Никого кругом не было... И не предвиделось. Плачь, не плачь. Ни впереди, ни тем более – сзади. Ни паланкина с усопшим следующим по мосту императором. Ни, может быть, промахнувшей мимо кареты с запозднившейся молодою барышней, выглянувшей из-за окна, из-за шелковой занавески, приоткинутой тонкой холеной нежною ручкой в вязаной длинной (по локоток) белой перчатке. Ни трамвая, летевшего по мосту... Ни брусчатки. Ни «Ямахи», ни велосипедистов. Всё исчезло... Все исчезли... Ни целующихся, ни конькобежцев...

Хоть бы (мёртвая) старушенция на мост взшла. Хотя б болонка на мосту образовалась. Лягавая или пудель. Будто сдуло всех... Будто не было... Никого, никогда... И ничего даже не было... И не предвидится ничего. Ни сзади, ни спереди. Ни зги... Мрак и морок один тёмной ночи. Только часики тикают... Ничего не обозначить... Никого, ничего же не вынуть из мрака, не вытащить. Не вернуть никого. Ничего. Ни стрелочки, ни самой, ни одной секундочки. Ни человека... Ни взять да и сотворить, так чтоб по новому, так чтобы заново... Из грязи, из глины. Из тины да ила. Такая препона и заковыка.

Вениамин Иванович принагнулся к кармашкам. Достал одни и другие, и третьи часики... Фрицевские (от отца, если по честному, не из Аида). Моджахедовские, афганские, с арабскою вязью и лунным серпиком под стеклянную чечевицей (Веня прикупил их у гробокопателя Володи, откуда же тот взял, нам неизвестно,

и кто снял, скорей всего, что с убитого, тоже не знаем). Третьи с войны чеченской, даренные ему безногим Иваном, передвигающемся на коляске, на память о своем брате, там же, на Чеченской, убитом... И последние – с Украины, четвертые... «Три чёрта было, ты – четвёртый...» Часы, обмененные им на собственные, баш на баш, с руки, пахнувшей порохом, друга и соратника Манечкиного, – «террориста» в отпуске, на ротации, здесь то есть, в России, бившегося за свободу русскую там, в Донбассе... И, наконец, глубже других запрятанные, разбитые всмятку... – без комментариев, 91-й год... Пятые... Господи! Стрелки даже на них подрагивали, будто готовые завестись...

Вениамин Иванович разложил для чего-то часики на тротуарной тёмно и тускло отливающей облачным светом плитке рядом с зеленой решеткой ограды, как раз под чугунным медальоном с орлами.

Часы четырехкратно и как-то странно, в резонанс, так громогласно тикали, впопад, неправдоподобно как-то... И... Не может же этого быть... Похоже, сдвинулись и пошли – пятые... Правда (не врала Тамар Михалвна), серб Тесла с помощью, помнится Вене, мелкого пустышного даже резонатора, готовился расколоть целую, всю землю... Убоялся. Манечка, узнай он способ, не убоится. Он её, как грецкий орех, как молоточком о скорлупку, только с помощью резонатора, хрясть и – расколет планету, только осколки посыпятся и разлетятся, – так Вениамин Иванович часики в 91-м хрястнул о брусчатку, сразу за мостом, вон там, выше... Шмякание часов о камень по сю пору закладывает уши Вениамину Ивановичу. Вениамину Ивановичу не может слышать. Удар потряс город. Камень сдвинулся... Булыжину вывернуло... Может, плохо лежала... Мостовая, так почудилось в тот час Вене, вздыбилась...

Вениамин Иванович (и на этот раз, и здесь, и сейчас) с опаскою поглядел на плитку.

Что такое...

Не может быть...

8. ПОТЯСЕННЫЙ ГРАД

Плитку так мелко, мелко потрясывало... Верно, что-то с глазами у Вениамина Ивановича...

И впрямь, будто соринка вовнутрь попала. Как-то странно внутри свербило.

Будто в носу.

Только чихнуть невозможно, не положено, чтоб чихать глазом.

Вениамин Иванович отвернул от глаза и приподнял веко. При этом задрал голову. Задравши, полез под глаз. Возможно в силу чрезвычайного положения головы, тулова, от внутричерепного давления или от рези и свербения в глазу, возможно от всего сразу, как бы там ни было, Вениамин Иванович увидел, как колонны с орлами, причём все четыре сразу (верно, у Вени сработало периферийное зрение), валятся к центру, которым оказался почему то Вениамин Иванович, валятся и падают на Вениамина Ивановича оторвавшимися от колонн орлами, и орлы энти золотым пламенем залетают Вене в глаз, нет, в зеницу ока Вениного, так сказать. Закатываются под веко. «Неужто поместиться в голове смогут?» – обожгла мысль Вениамина Ивановича, тут же, впрочем, и ушедшая. Однако ж, как же что прямо с орлами, со шпорцами их, точно такими, что позванивают на каблуках у Вениамина Ивановича, и как же, что не дырявят глаз... «Проходят, значит, наскрозь!.. Неуж фантомы там вместо колонн стоят?.. – зачем-то пронзила Веню новая мысль. – Определенно!» Ежели фантомы, конечно, ничё не стоит пройти им скрозь. Но Веня не раз же трогал колонны руками. Случалось, даже натыкался на них (в подпитии). До орлов же на шпильях, понятно, не дотягивался. От столпов же отскакивал, с оханьем и один раз даж с матом. Как что ещё вусмерть не разбивался. Сии изделия завсегда громоздились перед очами Вениамина Ивановича как-то весьма даже плотно, грозно и страшно.

Вень Ваныч на всякий случай слегка прынул, прикрылся рукою, защититься. Потом. Может, что не целиком попадали. Какие-то обломки там задержались. Ещё будут падать. Присел даже Вениамин Иванович.

Вот этого, верно, как раз и не следовало делать. «Как же, в самом деле, что не раздавило? – заодно успел ещё подумать Вениамин Иванович. – Ах да, ну да, да, да... Должно быть, со слезию прочистился глаз... По слезе, значит, скатились колонны».

Ещё дрожал так глаз...

И вроде что-то там, у ног Вениамина Ивановича, как если бы бухнулось. Чиркнуло, будто когтями. Будто крылами проволоклось. Не то шлёпнулось, не то стукнулось. Впрочем...

Может и так, что показалось Вениамину Ивановичу. А можа и нет...

Вениамин Иванович дополнительно поднагнулся – поискать государственные атрибуты (орлов то есть), – а как в сам деле рядом лежат... В щель, под плитку загнало их... Пряталась же между половицами Муся.

Ни колонн, ни орлов по щелям не было. Вениамин Иванович весьма изумился, до изнеможения. Изумление пробрало его до самых внутренностей. Захолонул Вениамин Иванович. Как если б украл Вениамин Иванович колонны с орлами. Так выходило. То есть как-то по особенному. На особый манер вкрал. Лежат где-то в собственных его внутренностях.

Вениамин Иванович завернул теперь сразу и оба века, пошарил внутрях... Гм... Орлов-с там, в глазницах, не было-с... И опять же: ни плафонов, ни шпилей, о колоннах и говорить неча.

«О, как запрятал! Далеко, значит, засели, в самих печёнках».

Оставаясь пребывать на раскоряку (причём на самой середине моста, ни с краю, ни с боку, весь на виду) Вениамин Иванович впал в ужас.

Посадют его.

И это убеждение уже ничем и никак нельзя было вытравить из Вениамина Ивановича.

Если по правде, конечно, не крал колоны Вениамин Иванович. То есть ежели трезво размыслить и по всей строгости. Ежели обсмотреть со всех сторон ситуацию. Ну невозможно ж таки громადины и похитить. И так, от, чтоб спрятать! Ни гу-гу чтоб.

Но именно оттого и посадют – что не воровал-с Вениамин Иванович.

100 % – что укут.

Мало, что ни за грош, – ни за понюх... 200 %!

Именно потому – что зазря и задаром, оттого и – схватят.

За само воровство то – не содют. Ни-ни. Известно. Вениамин Иванович хорошо знает. Научен жизнью Вениамин Иванович. Игде и что по чём. За столь габаритные кражи не то что в Орле, даж в государстве – не содют. Из уважения к вора. Ясно ж. В особо крупных размерах воровать следоват. Как та Василиса и тот маршал. Тут по экспоненте – чем больше покража – тем больше шансов – не сесть. И наоборот, по нисходящей, чем ниже – тем выше вероятность – попасть за решётку. Выходит, даж нельзя – чтоб совсем и не красть. Каждый день привлекать

будут. Замучаешься от обвинений. За честь, за одну ток загинешь. Та и сгниёшь. Ххх... Вень Ваныч, считай, даж обязан красть. Тем боле – по крупному. По крупному же – Венечка сдрейфил. По всему судя. С того и впаяют срок. Нет, чтоб сходу колонны хапнуть. Ток, как вступил на мост. Чтобы все видели. Без сомнений чтоб. Чтобы все знали. Тада к Вениамину Ивановичу не привяжешься... Венечка ж (ежели даж признать, что всё ж таки взял да и тяпнул) как-то сии колонны скрытно и тайно тяпнул... По воровски как-то... Вроде как по старинке. Будто цыган али разбойник какой с дороги. Ни тебе тендера, ни наезда, ни отката. Ни бумаги. Ни постановления правительства (местного, обладминистрации али горсовета, ну, скажем, о разрешении воровства, каких же токо они не дают разрешений), ничего не было. Не культурно как-то. Не спасут даж габариты. Потом-с... Дело то – политическое. Атрибуты то – государственные! Во как и во что вляпался Вениамин Иванович!

То, что он (положим, ну, положим, положим) фантомы (то есть всего лишь) – стащил, так это ещё и отягчающее вину обстоятельство. Потому как невозможно ведь так, чтобы фантомы и – увести. Вень Ваныч увёл. Страшный и опасный, выходит, Вениамин Иванович человек для государства. Потом-с, тут намёк... Будто все символы, все дворцы, все казённые учреждения со статуями (при орденах и звёздах, под флагами) на карнизах, орлы, короны и скипетры на фронтонах, всё такое разное прочее – и оно тож в Орле (и даж во всём государстве) вроде как за фантомы.

И тут вот что, вот какая хрень, то есть если вдуматься. Если вдуматься, значит, каждый может вкрасть, если он смог, Вениамин Иванович. Вдуматься, – если Вениамин Иванович спёр, если он смог и ему можно, – отчего же другим нельзя.

То есть если рассудить здраво. Мигом растащат государственные знаки. Даж ни одного не останется. Чтоб разбавиться... С Вениамина Ивановича почнётся развал государства! Нет, такого уж точно не простят Вениамину Ивановичу.

С другой стороны. Фантом он и есть фантом. Что есть, что нету. Потом. Никакой тяжести!.. Вкрасть али ни вкрасть – кака разница? Значит, так уж выходит – ничего не стоит изъять, даж сил никаких не нужно, без прило-

жения рук... Никакой хитрости. Никакого искусства. Гм. Оттого даж как-то стыдно не вкрасть. Невозможно... Со стыда сгореть можно, ежели не цапнуть. Мужики-с, оне уважать себя перестанут, ежели не примутся тырить. Снесут, ить, государство!.. Но уже по этому одному, опять же, никто и никак не поверит, что не утаскивал (ни колонн, ни орлов) именно Вениамин Иванович. Первым. Потому как – (все знали в Орле) – стыдливейший (вообще то говоря) был человек Вениамин Иванович Голубь. Понятно, что со стыда и похитил. Стыдливее ж не было никого (все, все в Орле знали). Только и прежде всего один Вениамин Иванович и мог стибрить, первым, то есть и именно в виду порядочности своей, выдающейся, по деликатности, в силу щепетильности и большого стыда. А это уже не важно, – по пьяне, сдуру, али ещё как утащил. Суд он выяснит. И расставит по местам.

Конечно, оно, когда на самом деле (опять же) – колонны – всамделишные. И это тоже Вениамин Иванович знал: не мог он в самом деле такое громадьё и чтоб враз унести. Ни целиком, ни даж по раздельности. Человеку такое не под силу. А нельзя сказать, что Вениамин Иванович обладал нечеловеческими силами. И однако ж не мог снять логических противоречий в себе, не получалось у Вениамина Ивановича избавиться от наваждения, ну, что он вкрал и что его все непременно и прям на мосту схватят, схватят и бросят в тюрьгу. Ну да, со всеми должнствующими моменту неоспоримыми фактами и доказательствами, которые вменяют ему в вину, там, на суде, предъявив их ему в обезоруживающей полноте, со всею доподлинностью и обстоятельностью, в немислимой, в роковой и даже неизбежной их череде, даже и не могшей с ним не приключиться.

Почему? Отчего? Что за в самом деле наваждение такое в голове у Вениамина Ивановича?..

Предъявят... Потому что момент наиважнейший для жизнедеятельности государства. Потому как атрибут вкраден. Сегмент, олицетворяющий саму власть. А без власти нельзя. Остановится жизнь в государстве. Вот оно как может даже быть.

Нельзя и не может даже быть, чтобы не предъявить Вениамину Ивановичу обвинений.

Кто как, что до Вени Голубя, сам Вениамин Иванович устроил бы и даже прямо на публике, тут же прям на мосту наипоказательнейший суд.

То есть исходя из высших соображений и принципов.

Сам был государственный человек Вениамин Иванович.

И потому и мыслил по государственному.

Веня сам бы себя схватил, принципиально, принципиально бы осудил, и на такой же манер впаял бы – срок. И потом сам бы себя на суку каком-нибудь взял да и вздёрнул. Лучше бы тут же, прям на колонне, на колонне б повесил, но вкрал он колонны.

Не найдут, не повесят, не то что бы холодел, но имел определённое разочарование Вениамин Иванович. (То есть потому, что сам вот даж не умел отыскать колоны, как же что другие найдут, то есть как же его вешать, ежели без улик).

А надобно, надо б... Ну, повесить... Мож, даже расстрелять!.. Для назидания и профилактики. В качестве наглядного наставления таким же, как Веня, определённо что тёмным, несносным и (чѐ там) гадким личностям, шкодливый и шепутным. Со всей непреклонностью бы вздёрнул. Надо поучиться у Манечки. Непреклонности, то есть. Что же, Вениамин Иванович готов пострадать, – за общее то дело. Енто даже большая честь!

Да что там... Вениамин Иванович как бы умирлялся даже всем энтим (а вдруг всё же случатся!) предстоящим с ним юридическим процедурам. Прежде ж всего подготавливал себя, собственно, к выступлению. К последнему своему слову, заключительному, как бы переживая ситуацию. К вершине, так сказать, своей жизни. Как там, на суде, то есть тут на мосту – на публике то, – как, значитца, выкликнут его, при всех, при всех назовут его имя, как попросят его, законники то, не хотите ль что-нибудь сказать, Вениамин Иванович. Так вежливо, со всем обхождением и по всей форме попросят.

«Как же, и что не могу, могу!...» – завсегда готов, завсегда на посту Вень Ваныч, есть, есть что сказать Вене... Да, стребуют его, нельзя без Венечки, завсегда государство нуждается в Вениамине Ивановиче, полезнейший он человек для государства. Ни туды и ни сюды без Вениамина Ивановича. Не обходятся. И не обойтись даже, никому, никогда. Как есть государственный человек Вениамин Иванович. Рано ещё ему на свалку. Соответственно Вениамин Иванович радовался суду, посадке и даже отбыванию срока, глядишь, еще чего-нибудь скостют, в виду его сугубой позиции, приверженности

букве закона, гражданской, так сказать, чувственности и чувствительности.

Сердце у Вени даже заходило от кротких и светлых мыслей... Чего там... Право же... Вениамин Иванович слезами аж обливался над таким душещипательным, вдохновенным (как у Пушкина (!), так, значитца), над таким тюремным вымыслом, душу, от, раздирающем.

Веские воровские факты, – отнюдь, отнюдь не из пустейшего жития Вениамина Ивановича, – выстраивались теперь и рисовались перед взором Вениамина Ивановича с особою живостью, живыми и в то же время как бы мертвящими публику красками. Как с детства он подле зеков жил. Как матюкался! Как из пионеров (за мат) был исключен, с последующим непринятием в комсомол! Как штудировал апокалипсис – для чѐ, спрашивается? с какими намерениями?.. Хуже того, Вениамин Иванович якобы вступал в тайную переписку (между нами, строго конфиденциально) с бессмертным автором вышеуказанного сочинения (апокалипсиса) о грядущей битве мировых сил с вопросом о месте в сѐм противостоянии сил русских. Зачем? Словом. Уже и в нетерпении был Вениамин Иванович. Как, что его не берут? Уже изнывал, что не схватывают. Однако же, будучи в предвкушении некотором, тихо так, тихо и скромно (несколько, – чѐ ж выпячиваться?) радовался...

Да...

А зря. Зря, зря. Зря ты, Вень Ваныч, прежде времени радуешься. Не схвачен же ты ещё, не уличѐн и, увы, никак даж не посажен.

Вот посадют, тогда и радовайся.

Вот умрѐшь – тогда и напишешь главные свои сочинения.

А так оно, конечно, вилами по воде – кинут али не кинут в подвал.

Распишешься ли (ну, как сочинитель), будучи мѐртвым...

Улыбнется ли тебе судьба – по смерти, то есть с написанием сочинений... Обернѐтся ли: – «Здравствуй, Вениамин Иванович!» И этак подмигнѐт: «Вам, Вениамин Иванович, далее ехать и сочинительствовать. На перекладных...» А то как принято, мол: «Приехали. Ссаживайтесь, Вениамин Иванович».

М-да, вообще, кака т неопределѐнность в мире. Разбалансированность... Каки т, от, виляния.

И уж точно, мож сказать, абсолютная – неустойчивость в государстве.

Хочешь сесть – не содют. Не хочешь – все-непременно. Ненадёжно немножко как-то всё в государстве. С того, должно, и пошатывает Вень Ваныча. И мост вот под Вениамином Ивановичем пошатывается. Да, да, начал замечать Веня... Опоры ходют. Особо раскачивает вверх. Ну там, где орлы. (Были... Были или ещё есть?.. Недосуг взглянуть Вене...) Ну энтю как завсегда... Как при землетрясении... Таки физические законы у земли. Куды ж от них денешься. Землю (даж её) и ту завсегда потряхивает. И ниче... А тут бронзовые каки т орлы. От, в глаз залетели... Жив (али мёртв?) Веня? Не, не... Так даж всё хорошо. Просто замечательно. Ток что не содют. Не хочут. Вроде как брезгуют. Не нуждаются, значитца, по большому счёту, в Вениамин Ивановиче. Должно быть и конечно, ну ясно же, что и тут – принципиально... Нет, ну конечно, не дошёл ещё до кондиций, соответствующих, Вениамин Иванович. И как что не сообразил... Чтобы сразу. Не дорассудил, значитца, в чём тут загвоздка. Что за такая справа. Так оно всё есть в Вениамине Ивановиче, в смысле душевных качеств, – деликатность, честность, щепетильность, чтобы посадили, весьма даже нравственный человек Вениамин Иванович, а вот, ну да, ну, конечно, – святости, вот, ея недостаёт Вениамину Ивановичу, то есть чтобы всенепременно, чтоб наверняка, необратимо чтобы в тюрьму бросили. Заковыка. Перво-наперво, конечно, от шмуточек надо избавиться... Потом. Завязать с пьянью этой, беспробудной даже иной раз. Пьяных, чтобы в околоток, в часть то есть, вообще, весьма неохотно доставляют. Возитья ток с ими. Так (для назидания разве что) оберут, оберут и бросят посереде дороги... Трезвых же забирают. Принципиально. Непременно даж нужно бросить пить. Потом-с – табачок, собственно, выращивание... Конечно, не конопелька, а всё ж. Если честно, Веня и так, давно уж только для форса покуривает, для одной красоты дымит, когда, скажем, дым завивает в кольца и насаживает дамам на пальчики, на каждый и по колечку душистому. Неприлично, конечно. При Вениному возрасте. С энтим, последним, определено что Веня завяжет. С табачком и с дамочками. Думал так, и всё больше от этого радовался Вениамин Иванович. Прямо светился весь. И чувствовал, бросят таки его в тюрьгу, посадят. По отсутствию недостатков. По наличию святости.

Нет. Нет, нет... Я не так, чтобы так... Право же, не собираюсь идеализировать Вениамина Ивановича. Чтобы взять и вот тут же... превратить Веню в праведника. Веня он сам по себе.

И всё же. И тем не менее...

Обращусь, впрочем, напрямую к самому Вениамину Ивановичу. Не то чтобы склонить... Или вразумить как-то. Напротив, может, даже... Вообще поговорить, от, просто... Чтой-то тож хочется. То есть непосредственно с Вениамином Ивановичем. Поскольку, чувствую так – человек...

Ах, Вениамин Иванович, Вениамин Иванович! Душа моя, одуван мой, золотой мой подсолнышек, полевой колокольчик ты мой, солнце моё, моё ты несчастье. Ягнёночек мой. Месяц мой ясный. Вень! Ну постой, погрузи ещё по над мостом. Попечалься на прекрасном мосту. Постой, сколько сможешь. Жизнь она такая быстрая. Пролетят печали-невзгоды – как ветер, да ветром и на воду. И не заметишь... А как сядешь, что же... Вишь, тут одна беда, такая одна заковыка: до доски отсидишь, гробовой, значитца, хоть до гроба – (всё одно) не нарадуешься. Радость – она завсегда короткая. Сколько годков не отвалят... Не нарадуешься, Вень Ваныч.

Должен сказать, всё это время, пока рассуждал Вениамин Иванович, пока летели в нём, быстрее ветра, быстрее света, криминальные, даж самоубийственные мысли, Вениамин Иванович несколько заблуждался. То есть относительно того, будто орлы залетели Вень Ванычу в глаз. Ничего подобного. Никак даж не успели.

С перепугу решил так Вениамин Иванович. Когда б вскочили, Венечка б дал дуба... Или близко бы оказался где-то. На грани... То есть на деле... Покамест же пребывал только мысленно, ну, по ту сторону... В мыслях, конечно, стопроцентно откинулся Венечка.

Может, ток на секунду.

Но время, как известно, вещь относительная.

Если точнее, Веня пребывал на том межеумочном и сомнительном рубеже, зацепившись даже не знаем за что, в том пункте, который пролегает над бездной и равноудалён как от одного, так и другого края её, на такой переменной и вздрагивающей (релятивистской, значитца) точке или

линии, где концы и начала сходятся, либо же, напротив, как начала, так и концы разделяются этой прорвою; то есть Вениамин Иванович пребывал как бы нигде.

Ни на земле, ни в воздухе, ни в аду, ни в раю, ни в жизни, ни после неё, и даже до жизни не ощущал себя Вениамин Иванович, так где-то между...

Между жизнью и смертью, когда, – с каждым ведь такое случалось, – когда чувствуешь – ни туда, ни сюда. Ни там, ни здесь. Ни жив, ни мертв. Ни вообще побоку.

То есть, будто бы жив, на деле же мёртв, – разве не слышали вы, как даже нередко шепчут такое над гробом. Грят, мёртвый, а будто живой, – так, от, мол, выказывает себя персона из гроба (и даже всем своим видом). Случается же, что наоборот. Что живые – вроде и человек, а вроде и нет... Даже Лев Толстой сказал, что вот де Протасов – труп, живой. Не закавычил кликухи даж.

Случаются ж такие летаргии, как с Гоголем, – а Веня был убеждён, что Гоголя похоронили заживо, известно, как тот изнутри исцарапал ногтями крышку гроба, как если бы письмами, – такие случаются пертурбации, что даж ходячего (предположительно), не разобравшись с ним, берут и закапывают...

Что ж тут удивительного, если, случается, что оный прямо из гроба встаёт. Что странного, если в самый энтот момент является оному в голову (при восстании) такая дурная, совершенно шальная мысль, что ему сие (восстание) только снится. И только с того он снова ложится в гроб (понятно, на глазах у публики), для того только, чтобы убедиться, что спит. Преж же всего – досмотреть сон.

«Видишь ли, – объяснял мне Веня, – самые чудные, пра, волшебные сны, оне бывают только у мёртвых, – (Веня для себя никак не закавычивал сего слова, тем более – после упоминания рассказа Толстого, гм, гм, про живой труп), – только у одних их, мёртвых, – совершенно, ну, неправдоподобные видения. Преж всего и даже только у них бывают волшебные сны, – убеждал меня Веня, – и заметь, – прибавлял, – как бы наяву снятся... Не разобрать – сон не сон... Мёртвый ты, живой...»

Конечно, Веня играл и даже заигрывался со смертью. Вроде, как в жмурки, ну, в прятки играл. А нельзя. Но, верно, ещё не припекло самого Веню. Так чтобы совсем. Вчистую чтоб

умирал Веня (когда не до прятков). Всё как-то наполовину было. Вокруг косою да около крутился Веня.

«Енто ощущение, не то что бы околечения, но, скажем так, столбняка, чувствительнейшее в то же время есть состояние», – говорил мне Веня, и, мол, не раз он даж в него впадал, до полной отключки. Даж глаза, мол, у него отказывались закрываться. Так, открытыми, стояли. Пугали... «И некому было их закрыть: недоставало у кентов смелости... Вообще, ну, чисто бревно лежал».

«А раз (вишь, набрались смелости), так даж обмыли Веню...» – рассказывал мне о себе в третьем лице Венечка, совершенно и намеренно от себя отчуждаясь, как бы подчёркивая полное своё отпадение от мира сего и даж своё отсутствие в нём.

«Всяк, кто приходил в дом, находил Веню, – Веня делал большие глаза, – мёртвым. Иначе говоря, – Венечка при этом как бы сверху откудатова глядел на себя, – и заделывался Веня, выходит, таким».

«И, от, как приходишь в себя, тут и впрямь будто впадаешь в сон. Как сон сама жизнь делается. Так, от, ей радуешься!»

Сим, – заговаривал мне зубы Вениамин Иванович, то есть успением (правда, он именвал собственную «смерть» другим именем, «карачуном»), так вот, утверждал он, «карачун» даёт большое преимущество («энтим, ушедшим из мира, да чё там, мёртвым»), которого нет у живых – это, мол, благоговение перед жизнью, коим они одухотворяются и в коем одном жизнь обретает нежный и потаенный смысл, – то есть как только бросится («ента жизнь») в очи мёртвому при его восстании – как цветы первые, веющие в сонные очи, только отверзшиися, как сон, который снится влюбленному...

«Так вот, ради полноты жизни, – утверждал Вениамин Иванович, – умереть и стоит. Если я умираю, – учил Вениамин Иванович, – то исключительно и ради сохранения, возобновления и продления восторженного состояния (пред жизнью), в виду и по причине пусть даже и несбыточного покамест (в чужих глазах) восстания...»

«Сбудется, придет час... Умру без обмана и без обмана восстану... Восхищение продолжится...»

Словом, как я понял Веню, да, именно так я его понял, как ученик и последователь Вениамина Ивановича, что жизнь его, как и моя, как и ваша, как бы и вся есть и должна быть – как влюблен-

ное обмирание, вся она – как обещание, неважно даже чего, не суть – исполненное или нет.

«Ты пред ею, как пред незабудками (не облетающими, вновь ж расцветут), как пред цветочками стоишь – этой малостью, этой милостью ея, со счастьем её созерцания и упоения её вечною тайной».

«И кроме тайны ничего даже нет», – учил Вениамин Иванович.

Так вот и щас Вениамин Иванович на мосту вроде как окочился...

Правда, не похоже, что в ожидании, в предвкушении, в обольщении некоего надвигающегося «сна жизни», перед явлением и светом «тайны»...

Ой, не похоже...

Во всё это время, ну, как колонны начали падать на Вениамина Ивановича, прямо ему на голову и орлами в глаз, в сей промежуток, во весь, да, в период высочайшего колонного низвержения, пока они летели по дуге вниз, ну, пребывали, значица, в стадии падения, а они, заметим, и по сю пору не упали, нет (то есть, пока на мосту лицедействует Вениамин Иванович), но продолжают падать, медленно так, как если бы в вечности (таковы психофизические свойства, самые законы времени, действующие внутри нас, в мозжечке, отвечающем за равновесность противоположных позиций, – подробней мы скажем, разьясим о сём пункте несколько ниже, если, конечно, не забудем, потому что хронисты тоже ведь человеки и забываются), так вот, во всю эту паузу (которая, должны внове заметить, ещё продолжается), как много и долго не рассуждал Вениамин Иванович, то рассуждал он, если и не окошуренным, то будучи в таком состоянии, определено, как если бы пребывал перед погребением...

Чего за такую секунду не передумаешь, не перевидаешь чего...

Одно слово (прочее покамест оставим), есть все основания утверждать, что тут над Вениамином Ивановичем протекала и протекла целая вечность.

Пра, без всяких прельщений. Забудем о них.

Как прошлая протекла, так настоящая и даже будущая его жизнь.

Да.

Меж тем как Веня настаивал, что настоящая гикнулась.

На смерти, на смерти преткнулся (и так надолго) Веня.

«С одного страху я умер!» – вопиял и зывал ко мне Веня.

Господа, я вынужден согласиться с Венечкой. Во избежание чего-нибудь худшего. Хотя куда уж хуже...

Словом. Пожалуйста... Зафиксируйте... И помяните Веню...

Да.

Со страху, со страху, только на секунду, на одну только, на одну и всё ж отдал концы Веня.

Разодралась завеса, расселась бездна, убился Вениамин Иванович.

То есть как бы сам в себе... представился... И длилась секунда сия, его умирания, целую, никак не менее, как (нельзя уже не согласиться) вечность.

С одного созерцания умер Вениамин Иванович. Случаются ж жуткие такие, правда, видения и соответственно ужасающие человеков созерцания.

Да, от одного вида колонн, падающих на него, одной картиною был убит Вениамин Иванович, придавлен, то есть – фактом лицезрения одного, так величав был сюжет и так ужасен. Его снесло летящими, но ещё и не занёшшимися даже в очи его орлами, в глазоньки его в чистые, реющими всемогущими государственными птицами, императорскими, а всё ж одно – хищниками, – от сего, от одного зрелища их подвинулся умом Вениамин Иванович. И убило его не крылами, – тенями, побежавшими от них, которые распростерлись над Вениамином Ивановичем, неправдоподобно гигантскими, наехавшими прямо на голову Вениамина Ивановича... Голову срезало, начисто, и даж отбросило... Веня едва успел дотянуться, чтобы схватить оную и посадить обратно. Получилось как-то боком и корото – не случайно, что поминутно засим поправлял себе голову Вениамин Иванович. Заметим, это уже на второй раз, как Веня остался без головы, первый раз ему оторвали котёл в Аиде, ну, фурии (или не совсем, ток наполовину оторвали, чтой-то я уже не помню, но точно без боли). А тут Веню всего даж скрючило. Сугубо от боли. Частью, конечно, от свиста, с которым наехали птицы, точнее, химеры, ибо всё же это были только лишь тени (но – хищные). Покорёжило как бы судорогой Веню. Припечатало к мостовой, будто бы жабу. Тулово ж скособочило. Даж кости повыворачивало. Выперло аж наружу. «Как бы совсем не разрушились!..» Веня не успел додумать. Бухнуло в мост!

В опоры! В самые сваи! Да что же это такое?!. Ходуном заходил мост. Мостовая выгнулась! Ободом! И рухнула вниз! Брюхом об воду! Воду сплющило и разъяло, – на миг, только на миг на обнажённых камнях показалось Вене измученное лицо девочки-утопленницы, и было в нём что-то жуткое и донельзя прекрасное, и будто она звала Веню, глаза её смертно блистали (слезами), волосы ж, взброшенные от затылка волной, текли от Александровского и до самого Тургеневского моста, будто гадюки, будто удавки такие, перевитые водорослями и цветками. «Вишь, страшно как отросли!.. – содрогнулся Веня. – Как есть превратилась в русалку!» Веня зачем-то напрягся – броситься к ней, на камни... Как дива взмахнула хвостом, исчезнув в пучине!.. Воду меж тем, подъявши всей массой, обвалило на берег. Набережная вздрожала! И будто прынул от воды город! Удар оказался столь мощным, что сбился и прыгнул воздух (так что можно было бить по нему битой), понесясь от моста вибрацией вверх, вверх и вдоль по Болховской, дальше и выше, растекаясь по переулкам, ныряя под арки, кидаясь в переходы, изламываясь и сверкая на ходу, и будто даже ускоряясь, ударяя в дома таким стенобитным громадным оптическим сгустком, покрывая всё каким-то сумасшедшим светом и блеском.

Здания покривились и изогнулись. Город преломился... Стал, как стекло...

Перед тем, как ему посыпаться, Вениамин Иванович совершенно уже понял, что умер. То есть, от одного вида случившейся в граде метаморфозы. От видения, то есть чистого, и не более того, вздыбленного и напрягшегося перед тем как упасть, града божьего, пупа земли – Орла.

9. ПРЕТКНОВЕНИЕ ВРЕМЕНИ. ТРАУР. НЕВОЗМОЖНАЯ КРАСОТА

Конечно, конечно, не устаю повторять, фактически не был (так, чтобы совсем) убит Вениамин Иванович, так, чтобы прямо... Где, скажите, орудия преступления, чем прикончили Вениамина Ивановича?.. А преставился вот... Фикция, если размыслить. Потом, без следствия и суда отошёл. Как-то неправильно. Несерьёзно как-то. Как-то легкомысленно дал дуба. Но дал!.. Какой ужас! Это что же теперь, то есть вот он о чём подумал, на что перескочила мысль Вениамина Ивановича

и отчего все затруднения, – что теперь будет с часиками? Да, да, да. Тормознутся ведь часики, не перенёши смерти хозяина. Время остановится. На другой раз. Раз уже преткнулось, и это только при мысленном отсутствии Веня Ваньча, то есть когда стали часики Тamar Михалвны (и тут же, заметим, мёртвые на мосту показались, как следствие остановления). Будильничек же энтот, Тamar Михалвны, надо сказать, не так чтобы совсем был равнодушен к Вениамину Ивановичу, чинил его Вениамин Иванович, запаматовала Тamar Михалвна, весьма были даже обязаны часики Вениамину Ивановичу. Как-то привязались к нему, значица... С того и стали, почуввав отсутствие его. Энти ж, которые он на мостовой разложил, завовсе ему родные. Соответственно и он им. И не просто ж теперь отсутствовал Вениамин Иванович. Фундаментально откинул копыта Вениамин Иванович Голубь. Не перенесут часики столь страшного потрясения, читай, смерти Веня Ваньча. Определенно... Ужас накатывал на Веню. Остановятся часики – преткнётся мир. Сделается как изваяние! Чем-то вроде идола или истукана. В виде теперь планетарного, так сказать, можа, даж вселенского кладбища, то есть с учетом количества часиков (целых же пять штук), в виду фактической, а не мнимой смерти Веня Ваньча. Мысленно Венечка уже обзирал вселенский сей фундаментальный погост... Мороз бежал по членам Вениамина Ивановича.

В сам деле.

Мы же помним, Вениамин Иванович нагнулся, даже опёрся о конец тротуарной плитки, лежавшей с краю дорожки с разложенными на ней часами, опёрся ж перстами одной руки, перстами другой прикрывал голову от летящих в неё, целящихся в темя ему орлов. Согласно другой версии, имеющей быть в голове Вениамина Ивановича, орлы, оне залетели в глаз к Вениамину Ивановичу. Но Вениамин Иванович несколько сомневался. Поскольку орлы всё ещё падали... Веня определенно пребывал в раздвоении сознания, как бы напрочь даже разъятого сим падением, не умея соединить разные противуположные мыслящие части внутри головы. Плитку потрясывало. Что бы там ни было. Ах, известно, как у нас дороги мостятся и устроятся, как укладываются в них бесценные изделия. Плитка поехала. Сошедши ж (только даже на треть) с дорожки, будучи под давлением

пальцев, как бы сама на себя провернулась, стала торчком, с намерением завершить оборот и шлепнуться лицевой стороной оземь, часиками вниз, всеми пятью штуками. Вениамин Иванович похолодел. Устройство сработало так, как катапульта: часики как-то так прыгнули, отделившись от плитки, как от пращи, что сиганули под пальцы Вениамину Ивановичу, ударив изнутри в них. Вениамин Иванович даже тотчас ощутил толчок под ладонью. И где-то под сердцем. Так что и сердце прыгнуло у Вениамина Ивановича. Замерло и совсем остановилось. Вениамин Иванович допреж ещё, судя по всему, ещё перед тем умерев, будто вдругорядь, дополнительно умер...

Это мы раскладываем движение на части. Всё ж сделалось в один миг. Это мы пытаемся складывать нескладываемое. Тщимся объяснить необъяснимое. Бытие иррационально. Или так, точнее скажем, сверхрационально. Не перенесши смерти хозяина, будучи психически сцеплены с ним и с его сознанием, часики напряглись каким-то особенным внутренним напряжением, от психического удара то есть, с одной стороны, с другой, от опустошения, в связи с понесённой утратой... То есть, если буквально: от перекрывшегося доступа перетекаемой в них (и даже взаимно, от хозяина к часикам и обратно, так назовём её) электромагнитной психеи. Размагнитились. Возможно... Словом, испустили дух. Часики-то... Распустился волосок Бреге, замер баланс, анкерному счётчику не тикать. Не с чего стрелкам бежать. Нет в часиках, а следовательно и нигде, и ничему нет и даже уже не может быть хода. Заперлось в механизме время. Кончился завод. Сдулась энергия.

Это мы долго рассказываем... Всё произошло мгновенно. Часики, все пятеро, так разом, разом, вдруг (!) – стопорнулись, так – что прыгнули, скакнули от резкого торможения. И на лету уже остановились. Время, значница, тоже (как сам Вениамин Иванович) и впрямь, на деле откинулось. Вениамин Иванович сам видел, успел заметить: стрелочки, как вкопанные, встали. Как впаивные...

Может, что и слава богу...

Вениамин Иванович, понуждаемый животным инстинктом, оглянулся. И даже кругом себя, окрест. И даже вслушался... Всё было недвижно.

Безмолвно. И на мосту, и в городе, по обеим его сторонам, справа и слева от Орлика. И – как бы, как бы это сказать – церемонно... То есть, как если бы целый город не перевозмог внутри себя кончины Вениамин Ивановичевой и вообще остановки времени. Застыл град Орёл в трауре.

Даже колонны, ещё не упавшие (до конца) на Александровском мосту – они ложились почти на голову Вениамину Ивановичу, сохраняя себя на весу, – а по Болховской арки подъездные, портики и крылечки в узорочье кованном, подклетные под полудугами абажуров (там, где кафе) и верхнего света окна зданий, в французских (парижских) таких кружевах порталы балконов, да целым ярусом, даже шатровые башни на крыше коммерческого банка, вместе с решётками, терема и теремочки под кокетливыми кокошниками завесились ко всему, как дамы, вуалями, – воздухом, тонким, таким муаровым, муравленным, и видно было: будто слёзки с железных ресниц их, с ажурных, там у них капают, право, видно же было, как дрожали – и ресницы, и слёзки – сквозь, сквозь марево и крап, снег и иней вуалей. По Вениамину Ивановичу плакали... Так успел мне передать Вениамин Иванович.

Господа! Вениамин Иванович ещё ни разу не видел такого нарядного траура. Невозможного.

Сразу даже как бы и приобиделся (на сию нарядность), к месту ли... Далее – засмотрелся...

Город стоял, правда, как в праздники.

Весь – дутый. Будто из уст выдутый, из демонических.

Весь в вибрации, той самой, побежавшей с моста, кторую сделались облитыми здания, весь волнующийся гнутыми (от бегучего сбитого воздуха) колоннами и столбами (с башенками фонарей), как бы даже извивающийся, покачивающийся – здесь вогнутыми, там выгнувшимися – домами и домишками, казёнными да частными (согласно новым временам) дворцами с настенными пилястрами, с бровками и щипцами надоконными, прочею волютой, всею лепниной, весь город, от цоколей и до фризмов (в перлах, шашечках и завитушечках под карнизами) не без затей устроенных зданий, вместе с крышами, с головы и до пят вставший, будто на цыпочки, на стекло, и будто всё ещё дующийся,

весь из себя вспыхивающий, многоцветный, дрожащий, переливающийся, – не город, нет – сущее волшебство.

Такова вообще субстанция стекла, которая вся в движении от света.

Претонкое, скажу вам, стекло. Прежурнейший воздух.

Потом-с – температурные перепады...

Это когда свет в цвет оборачивается, будто бы целый град завален цветами или где-то под ними прячется. Правда, в данном случае, кисти не совсем живые, и даже не бумажные, как бывает над могилами. Цветы стеклянные... Вениамин Иванович забеспокоился. Такая карамелевая (ах, петушки на палочках!) ломающееся-хрустящая крошка (если на зубах), а по целости светящееся-дугая, хотя вся литая (вот он, вот он воздух, и даже в пузырях, с ломью в нутрях и ломотцей), на ощупь же сия красота выпукло-липкая.

Такие изумрудно-брусничные с отливами огоньки-поляны, вставшие дыбом и прямо, стенами, полого, набок, вбок – крышами, и чёрт ещё знает чем и как... Наперекосяк, если быть уже точным, как стоят в Орле печные трубы со съехавшими с себя кирпичами и заметим, без дыма, сделавшиеся от неупотребления просто вытяжками воздуха. Так вот и они, отверстия их оказались забиты тем же, только скроенным по особенному, только слепленным иначе воздухом, нередко цветом того же дыма. Вот как бывает... Такое замещение... «Чем там внутри дышат?» – мелькала мысль в Вениамине Ивановиче, но ему ещё недосуг было её домысливать. Ещё не особо пугался Вениамин Иванович, зачарованный расцветшими, как в сказке, одеяниями. Правда, здесь поляны стелющиеся, там россыпями, тут волнами, а где-то – торосами.

Вениамин Иванович глаза проглядывал. Зрение отставного художника обострилось. Не по себе как бы даже делалось Вениамину Ивановичу. Не узнавал Орла Вениамин Иванович. Даже ознобец бежал по косточкам императорского живописца. Что это?.. Ни ям, ни залысин, то есть на бульварном спуске. Скучно...А хорошо... Ни разломов в стенах домов, так чтобы поддувало от них, чтобы несло на волосы сквознячком, от которого бы шевелился волос. Правда, сколько помнил себя Вениамин Иванович, как ни прелестен был город Орёл, как ни чудно-сказочен, а стоял (по

большей части) такой, всё одной, преприятнейшей и даже премилейшей, задушевнейшей и всё же прорехою, дранной. А тут... Грустно... И всё же прекрасно! Ни тебе штукатурки на голову и за шиворот, сыплющейся с неба, из под карнизов, ни сажи на стёклах, ни копоти, ни паутины меж рамами, в которой можно даже снаружи запутаться, над горками пыльной ваты с конфетами. Ни цыпок тебе на домах (в изножиях), ни царапок. Как понять?! Даже дома частного сектора, проглядываемые от Васильевской, по брюхо севшие в землю, казались сугробами, наметёнными вьюгой, – из того же, того же чистого воздуха.

Правда, город блестел, горел, точно сотворенный из снега, точнее, как кулич, ток из печи, токо помазанный, ххх... Ну, гусиным пером. Пером, обмаканным в пудру, не в масло, в сахарную, взбитую с яйцом, тут же и присыпанную меленьким (смотри в микроскоп) маком цветным... Дома стояли, как ромовые бабы, в сахаре. Углы сверкали кусковым рафинадом. Бульжник между домами лежал, будто бы подо льдом, как в лупу просматриваемый. Река стояла платом из кварца. Таким торосом одним. Такою слепящую очи длинную непременно прекрасной (от света) глыбой. Немного, правда, изломанной. Петушки на флюгерах и те светились. Не город – леденец мятный. Пряник печатный. Даже крыши домов – шиферные и черепичные кровли от верхних венцов до коньков с гребнями и петухами, дымоходы будто бы с бойницами, вытяжные трубы под козырьками, тарелки, усы антенн, советские звёзды и даже флаги (с шитыми золотом ниткой гербами) – были облиты сладкой глазурью; что там, даже погоны на статуях (бюстах), прозрев Вениамин Иванович, стояли в помаде, даже пушка под мостом, даже тридцать четверка на краеугольном камне на Комсомольской, даже всадник за мостом, генерал, даже его аксельбанты, и даже шпоры, даже взнесенные с другой стороны банка над гимназией копыта кобылы... Что уж говорить о корзинах с цветами, подвешенных, нет, не здесь, а вон там, правее – на мосту Тургеневском к столбам с фонарями, а также (если оббежать крыши глазами, Вениамин Иванович это запросто делал) левее и чуть вкось на мосту Красном, покачивающимися над бегущими под ними трамваями... Что же, теперь и трамваи, не только боками, но даже и штанги, и даже рельсы трам-

важные, перетяжные столбы, камни под ними сияли красным, там лазоревым, тут матовым блеском, больше же отдавали глянцевым, лаковым да слюдяным. Но чаще всё же – рубиновым переливом. Как красные звёзды. Как розы, безбашенные, красные. Только что не плавилась, не вскипали, как вскипают ранетки в жарком вязком сиропе, прекрасном для глаза... «А как закипят! – пронеслось в голове у Вениамина Ивановича. – А как копыта опустятся...» Гм... Так прямо на головы, на бюстики, на уста («Орёл да Кромы все воры...») медовые Леонида Андреева, а то на Столыпина, уже убитого один раз, – бюстики их, они ж стоят прям под гимназией, еще с четверными другими, всего же числом шесть, преткнулись прям у крыльца по трое, слева и справа крыльца с узором, со свесами тонкими, лесковскими, самого ж Лескова нет, хотя здесь же учился... Блаженный гигант, он сидит отдельно с другой стороны, точнее, по ту сторону площади, развалясь на диване, ближе к церкви Михаила Архангела, но взором прямо в гимназию зрит, с укором, – выгнали же его из сей гимназии, и бюста вот не поставили, двоечникам не ставят... Однако, тикать надо, хлопцы (это так Вениамин Иванович про себя как бы обратился к бюстикам), так подумалось Вениамину Ивановичу и отчего-то по хохлацки, уносить ноги то есть надо, если по-русски, бежать, значица, – копыта дрогнули, почудилось Вениамину Ивановичу... Что это?.. Кобыла даже ещё как бы подсобралась, подвздыбилась. Ить, запрокинется задом, а то завалится набок да и падёт – на Николая Семёновича. Вениамин Иванович переметнул взгляд вправо. Острым зрением обладал Вениамин Иванович. Даже не моргнув глазом Николай Семёнович, то есть Лесков, на диване, значица. Какая выдержка! Только фигуры на цоколях напряглись, как бы изготавились, – эти поспрыгивают. Надо б поостеречься... Вон того, с бритвой... Вениамин Иванович потрогал себя за шею (в который то раз). Голова на месте. Руки ноги целы. Убёгнет от бритвы. А энти, сработанные в бюстах, они без рук без ног. М-да... Однако, при шеях... Полоснёт!.. И отчего это, подумалось Вениамину Ивановичу, интересно же: шесть, значица, бюстов, и шесть все – с усами... А у трёх так еще бороды. Верно, бороды – для разнообразия. Когда бы Вениамин Иванович учился в гимназии, и далее, когда бы уж помер, его бы тоже поставили, – рядом с ими. Всенепременно.

Потому что вообще хорошо учился Вениамин Иванович. Он бы один стоял без бороды и без усов даже (на ту пору сбрил их Вениамин Иванович, а так с усами ходил), без волос – вопрекор ансамблю... Или... Это как же – ежели без – то не ставят?.. Если чё – можно будет отбить усы, прямо щас, у кого-то одного, взять себе – так, небось, немедля и даж по закону – поставят Вениамина Ивановича. На обозрение. А то ещё, глядишь, свозят в Лондон, а то в самый, ну конечно, в Париж – на Всемирную выставку архитектурных изделий. Вениамин Иванович приосанился. Хотя, конечно, как-то неприлично – мёртвому (а мы помним, Вениамин Иванович умер) и – выставляться. Позировать то есть. Надо б было живым похлопотать о себе. Чтобы при жизни слепили изваяние, значица. Чтобы и стоял, как живой. С руками, с ногами. И даже двигался чтоб. Потому как – живой. Ежели что, так драпануть. В сам деле, мало ли чё генералу не заблагорассудится, куда и в какую сторону скакнуть. Махом на мост прыгнуть и даже через. Вениамин Иванович слегка прянул. Может, самому вместо него на кобылу сесть... Не... Как хороша кобыла! Ааа... Вениамин Иванович вперил взгляд под брюхо ей. Ё-моё! Яйцы! Каковы! Как у дракона! Производитель! Никакая не кобыла. Надо б будет свести их как-нибудь вместе, боевого то есть жеребца с нежной лошадьё капитанши. Не, бесподобны, прекрасны, поразительной, страшной красоты яйцы!.. А масть!..

Рыжий, весь золотой, как солнце, и правда, сверкая прекрасными яйцами (я лишь передаю рассказ Вениамина Ивановича), коваными копытами рассекая звонкий воздух, конь генерала Ермолова парил над площадью, над гимназией, над орлами на белых колоннах со скипетрами на хохолках, над Орлом, над всея державой, над раскинувшейся что вдоль, что поперёк под копытами его Россией!

Туды твою мать!

Вениамин Иванович осёкся. Нехорошо, да ещё при генерале, матюкаться. Раз... Потом... Потом... Вениамин Иванович, он не от мата, по правде сказать, осёкся. И, как бы это сказать, не то что смутился, нет, Вениамин Иванович затаил дыхание. У Вениамина Ивановича спёрло дух. Да. Почудилось... Или взаправду? Гм, парение над Орлом – это, конечно, метафора. Большое преувеличение. Но... Что это?.. Что это – снова – за резь в глазах? Вениамин Иванович, даже сняв

с головы берет, прикрылся оным убором, так слепило от сверкания коня глаз, режущего что именно сверкания, словно несло в глаза золотым песком Вениамину Ивановичу.

Рудый, алмазный, пыхая розовыми ноздрями, весь в дыме, конь генерала Ермолова дрогнул. Вениамин Иванович вскрикнул.

Конь ещё присел, совсем в раскоряку, двинув литым задом пушку, сверкнув набитыми, как персидские подушки, напыщенными ляжками, сметя пушку кружевным хвостом.

О, хвост! Хвост, мой хвост! Как бы распушенный помазком! Ослепительный, волончатый, словно из пены морской выпнувшийся, словно от сибирских горностаев (в снегах нагулявшихся) взятый. Бока дутые. Хвост – волнующимся по воздуху помелом! Без сомнения, именно на нём летала несравненная Маргарита, – это была не швабра, уверяю вас, господа хорошие, се был хвост коня генерала Ермолова, он, он, волновался под ягодицами прекраснейшей, возлюбленной мастера.

Дамам бы его орловским да под попки, на белы ручки и укрываться им, шейки хрупкие кутать...

Вене самому хотелось, так хотелось иной раз подержаться за хвост, что он плакал.

Огонь бежал и блистал по коню! Так горит в поле, схватывая его и змеясь по нему языками, трава под ветром. Так блистает в знойном поле сам воздух, струится и убегает, наворачиваясь слезами на глаза.

Всхрапнув, конь густо и страшно заржал, так страшно, что в доме по Карачевской 12/3 посыпались стёкла, причём с обеих сторон дома, точнее, с трёх (четвёртая дальняя сторона была глухой), то есть, значит, со стороны сквера, где на гранитной глыбе перед площадью, а за ней гимназией, вздрожал конь, далее (обогнём крышу и приземлимся во двор дома), со стороны двора (с липами, островерхоу елью и величавым каштаном), двора, примыкавшего к церкви Михаила Архангела, там, с обратной стороны здания, там тоже выбило стёкла, то есть звук ударил навывлет, и, наконец, с торца строения, и с торца полетели стёкла – на часовенку под ним, круглую, белую, и, о ужас, так брызнуло, что заляпало стеклом лесковский ансамбль из статуй, хоровод, значаца, из прелестных фигур через дорожку от торца дома с часовенкой. Особо часто и рясно сыпануло (отчего-то) на платье Аркадию Ильичу, тупейному художнику (который явно никак не ожидал столь невероятного хамства,

столь большой наглости, такой вот агрессии, тем более со стороны коня), а также на голову ему прыснуло и – на руку с бритвой, зажатой в тонких искусных пальцах. Вениамин Иванович мог бы поклясться, что в кулаке у него была бритва (нет, не расчёска, господа хорошие, как изобразил скульптор), и он только что правил её на ремне, жик-вжик, туда сюда, поворот и обратно, долго правил, был уверен Вениамин Иванович. Оттого она и была столь хищной и вострой, ею можно было резать стёкла... Погонится таки за Вениамином Ивановичем... И Вениамин Иванович уже готов был дать дёру, как всадник обернулся к нему головой... Вставши, дыбом горели над генераловой победительной головой жаркие волоса! Да не сгорали! Ожил! – едва ли (вдругорядь) не вскрикнул Вениамин Иванович. Но что-то там, в нутрях у него, дёрнулось, перевернулось, то есть даже тотчас и заодно с поворотом геройской пламенной Ермоловской головы, дык! – вспыхнуло в голове самого Вениамина Ивановича, – это же он сам ожил! – с того же, значит, и завертелось, и закрутилось время! С ним заодно, с оживлением в нём его жизни ожило! С того, значит, и задвигалось всё...

10. БЕШЕНСТВО В ЧАСОВОМ МЕХАНИЗМЕ. СВИХНУВШЕЕСЯ ВРЕМЯ

Исчез с глаз долой (и из сознания) всадник. Пронеслась пред глазами (внутри глаз) бритва. Только сверкнул (над ресницами) воздух.

Боком, боком... Краем, краем глаза... Боялся не поверить глазам... Воровато так... как если б из-за угла откуда... глянул Веня на часики, вернувши свой взор к тротуару и к мостовой. Прямо-таки распластался Веня над часиками.

То есть, нет... Не так. Ещё до взгляда, до озирания часиков... Слух же у Вени таким же был, как зрение, острым. Тонким претонким таким. Услышал Вениамин Иванович: тикают... Мать честна! Часики-то... Даже только самый первый удар расслышал... Да. То есть сразу вместе с торкнувшимся, с прыгнувшем нутрях сердцем. Всё правильно. И с тут же им узренным ходом стрелок. Разом! Вот как! Как дернулись только стрелки, узрел Веня! Ибо глаза глядели у Вени врзлёт – один на всадника, левый-то глаз, другой, который у него правый, тот глядел у Вени вниз, на циферблат, и даже сразу всех пятерых часиков. Растопыривши и даже разведя их между собою, косо глядел Веня во вне

глаз, такую вот растопыркой или раскорякой, такой преломленной, даже с углами, параболой (читайте, господа, геометрию Лобачевского). Вообще таким трансцендентным и медиумическим было зрение у Вени, как, впрочем, и слух. И как они, впрочем, есть даже у каждого человека. Человеки, они просто не замечают за собой, как они слышат и видят, и как прозревают. Как зрят они, будучи даже слепыми. Слепые ж, они и во тьме видят... Как только начаться тиканию, уловил он... Как только забилось сердце у Вени, так стронулось время... Часы от Ивана, с руки его брата, – те запели. Часики были с боем! И тут же отозвались (хотя никогда не били, но вот же забили) часы, Вениамин Иванович уловил чутким ухом, ну конечно, на фронтоне «Связь банка» вверху Болховской, круглые, с золотым ободом, под стеклом; и даже разом и впопад к ним откликнулись и зазвенели (ну что за чудеса!) – квадратные, без стекла, с вынесенными за окоём римскими цифрами репетиры на стене мэрии (наискосок через крышу гостиницы «Салют»). И... что это, что за слух сделался такой у Вениамина Ивановича?! Господа! Вениамин Иванович расслышал, как забили, заиграли куранты на стенах шестипрестольного Спасо-Преображенского храма в древнем великом городе Болхове, там, недалеко от долины смерти, от Кривцовского мемориала-кладбища с двумястами тысячами мёртвых, лёгших там в землю, павших в Отечественную за Орловскую, за русскую землю... Загудел семисотпудовый колокол, первый... То есть как бы даже из прошлого времени... Во все стороны и даже во все времена стал чутый и слышать Вениамин Иванович.

Художник наш обмер.

Ударили – и, похоже, на всех, и ближних, и дальних, церквах – колокола! По всему, по целому околотку сразу, по всей округе, на всех российских просторах. Да каким-то всполошным, или, как если бы в старину, метельным, отчего-то подумалось Вениамину Ивановичу, боем, как если бы путники заблудились где-то в пути в пургу (да только начало же лета)... Но как ни гляди, не случайно же так обвалились била и загудели колокола – долгим могучим набатным боем. Какие резоны? что за причины? должны быть веские для сего основания! – время заблудилось! ну да! вот! – понял вдруг Вениамин Иванович. – Народ на распутье! Куда, в каку сторону ему брести-двигаться? И вообще идтить ли?

Может, оно и вправду, уместней ему обмереть и застыть на месте, как если бы в анабиозе... как если б в отключке переждать сию, похоже, всемирную метаморфозу, сей катаклизм, сию невнятицу и заваруху. Сие коренное замирание и сей новый странный скачок времени в четырёхмерном пространстве. Сей спятивший, похоже, сей вздыбившийся бег времени. Сию невозможную путаницу, попахивающую серой и адом? Вселенная схлопнется ведь!..

И вот... вот, далее... Не где-то... Не что-то там... Не иные какие вещи... Столетние дубы в Орле потряслись! Но отчего, с чего, право же, что за такая напасть, мучался даже Веня, не веря чуянью своему, своему слуху и зрению. Да так, так потряслись каким-то потрясеньем великим, что упёрлись корнями, тупыми отростками (мгновенно ж расслышал Вениамин Иванович, мороз его даже пробрал по коже) в кости (в человечьи), и пошевелили их под орловской землёй (на костях, на костях, известно, стоит город Орёл, древен, древен вельми, много здесь полегло защитников), пошевелили, и при шевелении сём в одно время придрожали дубы верхами и зашелестели весенней листвой – сразу на Бульваре Победы, в Козьем парке, во дворе церкви Богоявленской по над Набережной, по всему периметру града... По всему отряхнулись и зашелестели листочки, да пошевелились под корнями дубов кости. Вениамин Иванович расслышал лиственное молодое дуновение. И сразу – шевеление костей... И даже как бы пятки подбило Вениамину Ивановичу костями. В нетлении, значит, лежали... Под левый сапожок особо ощутимо стукнуло. Даже шпорца дзинькнула. Даже крутнулась, ввинтившись в каблук. Верно, стоял винт косо: тронуло собственную пяточную кость Вене. Вениамин Иванович припал к каблуку – развинтить... Что это ему – показалось? Боковым, боковым зрением... Будучи в невероятной такой раскоряченной позе различил будто бы Вениамин Иванович... Там, справа памятника Николаю Лескову, – в скверике, примыкавшем к подворью церкви, бывшем когда-то погостом, прыгнуло и даже будто заколотило из под земли – отростками, в воздух... Даже зарябило в глаза... Кости полезли... Со страху что ль... От какого ужаса... Да вправду, с чего это... Как можно-с... И в одно время, в одно же время рассмотрел Веня, как бешено закрутились, завертели под дру-

гим глазом часики; будто обезумевши, полетели стрелки... Секундных, тонких, не стало... Словно размазались по стеклу... Так быстро бежали... Будто испарились... Минутные ж так летели, так, что, казалось, застыли. Такой одной серою тенью накрыли, будто крылом птицы, само время; так спицы у велосипеда при быстрой езде, сливаясь в одну, представляются полупрозрачной туманною плоскостью диска. Так здесь, за диском, сотворённым минутною стрелкой, едва различались цифры. Собственно в них не было уже нужды. По факту они превратились в ничто. Применительно ко времени самое понятие числа, кажется, сделалось лишним. Только стремительный бег (по обыкновению даже недвижных) толстых часовых стрелок (но и тут только при некотором напряжении зрения) улавливал и различал Веня. Как с ума не сойти! Страшно, страшно они вращались! Так страшно, что помрачалось в голове у Вениамина Ивановича. Сколько же времени за сии мгновения прошло?..

«Может, может уже с тыщу лет, как я стою на мосту, – пронеслось в голове у Вениамина Ивановича. И даже ужас схватил голову Вениамина Ивановича. – Значица, близятся времена, последние... – морозец пробежался по спине Вениамина Ивановича. – С того, должно быть, и полезли кости... Что как бы в предчувствии... В виду страшного-то близящегося надо всеми Суда!.. Восстанут же перед Судом мёртвые!.. Подошли сроки... Верно, вострубила уже труба!.. Подымаются мёртвые!..»

Вениамин Иванович оглянулся на город.

Что хотел увидеть наш дражайший художник?..

Что за такое грозное шествие? Что за такой ветхий и неумолимый марш? Что за армия двигалась перед глазами Вениамина Ивановича?

Время, о быстротекущее время! Сумасшедшие часики!.. Никак само будущее пронеслось перед глазами Вениамина Ивановича.

Что за страшный парад принимал Вениамин Иванович?

Рукописи Вениамина Ивановича умалчивают о том, хотя я и изрядно в них углублялся, штудировал, да, ковырялся там... Сам живописец всякий раз, как только подходил к ответственному моменту (а видно было, что несколько раз подступал, крутился вокруг да около, много там чего почеркано), верно, как бы терял дар речи, то есть рука отказывалась... записывать. Похоже,

зуб на зуб у него не попадал. Тряслись конечно-сти... Как тут записывать?! (Может, даже зрение ему отказывало... Пугалось воспроизводить то, чего он там видел). Словом, сказать нам здесь и о сём нечто сверх сказанного нечего, невозможно, ничего вразумительного...

Но далее...

Слышал ещё Вениамин Иванович, то есть сразу с прыгнувшим в груди сердцем и с боем часов, как кукарекнули петухи на Васильевской. Как заголосили они от Лужков и даже дали знать о себе с Выгонки.

«Полночь!» – понял Вениамин Иванович.

Бедные петухи! В связи с летевшим сломя голову, в связи с закусившим удила временем, кочеты вынуждены были кричать без продыха, без перерыва, ибо полночь, едва они откричали, как уже сменялась зарею, – та же, и незамедлительно, полуднем, дни летели невообразимой мелькающей чередой. Каплуны так драли горло, что Вениамину Ивановичу истомило уши. Брёх собак переходил в один морозящий душу, как по покойнику, вой, будто несть числа было новым покойникам. Мычанье коров, верно, не доенных, совсем надрывало и без того разбитое сердце Вениамину Ивановичу. По ногам вдруг забегали-зашмыгали крыски, прыгая на сапожки к Вениамину Ивановичу, привставая с них и заглядывая к Вене в карманы, в душистые, – что в свою очередь удручало художника: изгрызут запасец Вениамина Ивановича, не одни сухарики, тот же табачок, кисеты с пряностями и благовониями (крыски всеядны), поточат беличьи кисточки, умыкнут бумагу и даже краски, потом... потом примутся за самого Вениамина Ивановича. Никак не получалось тут сосредоточиться и собраться с мыслями.

Вениамин Иванович то ли от испуга, то ли от омерзения, скорее, от того и другого сразу, задрал голову кверху, устремляясь не только взором, но и высокою мыслью – к небу, подальше от наглых тварей.

Небо кренилось... Облака сорвало с орбиты, даже всякая дымка исчезла-истаяла, как если бы кто протёр шелковой тряпочкой небесный выпуклый свод, очистивши разом и даже тот же час просиявшую светом линзу. Случайно ли?..

Правда, чудилось так, будто свод только что – на глазах у Вениамина Ивановича – родился... То есть заново... Невозможной сиял такой, несбыточной красотой.

Верно, и земля тоже очистится, зачем-то подумалось Вениамину Ивановичу (с некой затаенной внутри себя апокалиптической и всё более укреплявшейся в нём мыслью).

Вениамин Иванович пробежался руками по комбинезону, дабы придать ему (наряду то есть) и себе (соответственно) надлежащий и строгий вид, подобающий моменту, – мысль-то, запавшая в голову Вениамину Ивановичу, никак не уходила из головы Вениамина Ивановича, то есть с предощущением, как бы это сказать, Вселенского некоего метаморфоза. «Верно, следует даже побриться», – мелькнуло в голове у Вени. – Даже нужно». Надобно же будет, так мы понимаем, представляться (для знакомства), ну, скажем, тем же усопшим, гм... Тем, которые восстанут, взойдут на поверхность и прямо на мост... А Веня не брит...

Веня достал помазок. Поплевал на обмылок. Нанёс на щетину, скорей, для блезиру, скорее, видимость пены. Ничего, сойдёт. Нашарил в кармане, вынул и небрежно так, откинув её от себя, выбросил из створок рукояти бритву.

Взявши себя за нос большим и указательным пальцами и даже оттянув нос кверху, занёс над верхней губой лезвие... скоблить...

Земля под ногами Вениамина Ивановича треснула...

«Вот, – подумалось еще живописцу, – начало...»

Определенно, земля расселась.

Бритвой Вениамину Ивановичу едва не срезаю нос.

Как же... Одна нога у Вениамина Ивановича провалилась... В яму... В образовавшуюся...

Инструмент встал у глаз... Абсолютно горизонтально...

При этом (на полушаге) другая нога иллюстратора книг провисла в воздухе и всё ещё висела... Неудобное положение. Однако же надёжный противовес.

Вогнутое полотно лезвия как-то всё сразу – поперёк от жала к обушку и вдоль от головки клинка до пяточки – изломилось... И вроде хрупеньким стало, как стекло. Будто бы подменилось. Однако же Вениамин Иванович тотчас взял в соображение: стеклянный город просто чудным блеском отразился в клинке. Со всеми своими извивами и изломами. Вениамин Иванович на секунду даже прикрыл глаза, которые тоже будто ломались. Такой блеск! Но что

это? Что за неприятность такая? Глазные яблоки поддёрнуло тонкою паутиной, которая вначале-то (очередная метаморфоза) явилась на бритвенном полотне, как бы взявшемся рябью, сеточкой трещинок или морщинок; однако ж, явившись, вот гадость, паутина сия скользнула с лезвия Вениамину Ивановичу на зрачки. Будучи тоньше бритвенного жала, правленого на ремне, сия власяница прямо-таки впилась в стекловидные тела Вениамину Ивановичу и впиванием сим расчленила один и другой его глаз. И тот, и другой вспух. Точнее, так показалось Вениамину Ивановичу, оба и разом – изверглись из глазниц, от внутричерепного давления, взорвались – колбочками и палочками, которые смешались при взрыве, – смешавшись, подъялись к хрусталикам и выскочили, исторглись вон из глазниц.

Вениамин Иванович как-то даже и со всей убежденностью успел установить сие по очередному отражению на том же клинке, поверхность которого на этот раз побежала сыпью, как если б мурашки разбежались по телу Вениамина Ивановича, но тут по бритве, но, правда, в одном направлении – осколки прыснули именно вверх, за окоём верхней кромки сканирующего город инструмента. Но нет, как что бритва не распалась, взявшись зерном?.. Всё смешалось в голове у Вениамина Ивановича... Только тут Вениамина Ивановича настиг звук. Не без усилия живописец, оторвавшись от убийственной панорамы, обернулся головою назад. Город падал на Вениамина Ивановича...

11. ВОЗДУШНЫЕ АБЕРРАЦИИ. МИР НА РЕСНИЦАХ ГЛАЗ

Напомним. В обозреваемую нами ночь (покамест запечатленную только отчасти) город стоял в глазах Вениамина Ивановича, как в мармеладе, обсыпанный сахаром. Как ромовая баба в сахарной пудре.

Вообще, надо сказать, Вениамин Иванович (мы уже не раз замечали, и тем не менее никак не помешает напомнить лишний раз и даже подчеркнуть) обладал весьма – не то что там своеобразным, но попросту даже непостижимым зрением, исключаяющим (тем не менее) любое соответствие или тождество между предметом и его изображением на сетчатке глаза, то есть как это бывает у нас, обычных человеков. Причём и именно, не в виду органического какого-нибудь поражения глаза, но именно и исключительно по

необычайной и даже превосходящей всё, что мы знаем о ней, зоркости. Так Вениамин Иванович еще до обнаружения (достижения взглядом) предмета любовного созерцания различал массу нюансов в самой атмосфере, его окружающей, в воздушных вибрациях. Как ни быстр человеческий взгляд, летящий на кончике света (а ничего нет быстрее света), Вениамин Иванович был быстрее, то есть в реакциях. Вениамин Иванович, как правило, за редкими исключениями, не достигал даже поверхности и даже обожаемых им предметов, паче того, материй или субстанций, их составляющих. Метафорически говоря, не долетая до них, Вениамин Иванович, как бы это сказать, не то чтобы застревал, живописец наш попросту утопал в восхитительных фракциях, нимбах и аурах, испускаемыми ими, плавал и как бы одухотворялся в лёгких эссенциях, напитываясь светом. Такая вот штука. Так что на самые предметы как бы уже и не доставало Вениамина Ивановича. Как бы даже и не различал их Вениамин Иванович...

Вообще, надо сказать, Вениамин Иванович исповедовал чисто художественную диалектику, напрочь отрицая когнитивные функции мозга, утверждая, что Бог (или истина) – в красоте, в цвете, либо в звуках, если это речь или, скажем, музыкальные пассажи, но никак, нет, не в смыслах (смысл есть вздор), и даже не в форме (хотя, казалось бы, мир распадётся и даж растечётся без оной), но – в птичьем щелбете, мерцании разных цветов, в комбинациях отраженного от плоскостей, углов и овалов света, иначе говоря собственно в свете, который – само совершенство, прочее всё смутно и всё темно, всё от лукавого.

Разумеется, при подобном рода мировоззрении, возможно, что и так, будучи правым по существу, в частности наш художник совершенно запутывался, нередко изображая вместо домов плавающие в воздухе реснички и вакуоли, нередко в золотом пламени или свечении, пыльцу, цветочную, сияния, отсветы, радуги и коромысла (ну, право же, слишком трепетная субстанция – свет), словом, являя миру ту самую натуру или субстанцию, которая сверкала у Вениамина Ивановича на реснице глаза, соскальзывая в оный с бритвы (ну, например, как в этот раз).

Критики пеняли Вениамину Ивановичу, указывали на немислимые искажения, рассуждали о художественных противоречиях, не беря в

голову тот факт, что это был такой метод, что так видел Вень Ваныч.

При пылкости же своей натуры Венья никак не умел, ну не мог, чтобы один фрагмент (сюжет, образ) не налезал на другой, выскакивая из под пера или из под кисти – (у Вениамина Ивановича, повторяю, много было разного рода записок, как описательного, так и философского свойства, откуда я всё это и черпаю) – зачастую выпинаясь прямо из черепа, как чёрт из табакерки, какой-нибудь бузиной, по отношению к которой – дядька в Киеве. Вдохновение бежало поперёд головы у Вениамина Ивановича. Невообразимые картины создавались в голове у Вениамина Ивановича.

Простим живописцу художественные его несообразности и даже все недоразумения, связанные с мировоззрением, мирозерцанием и методом, отдав должное редкому воображению, пылкости и несомненной, хотя и причудливой, дивной, творимой им красоте, сияющей (неизменно) в его голове, внутри, временами ж выскакивающей наружу: цветами и светом посредством кисти на полотно. Вообще, чудо в красках, утверждал Вениамин Иванович! Как хотите, не могу не согласиться с художником! Иногда же думаю, что, может, даже Вениамин Иванович есть предтеча некоей иной реальности, до которой у нас нет входа, он же нащупывает... Или даже и видит её... Молюсь на Вениамина Ивановича!

Словом, город под сбившимся воздухом, как бы оплавившийся, блестел перед взором Вениамина Ивановича одной такой цветной (во всевозможных огнях рекламы) ледяною глыбой, будто бы за стеклянной завесой, слегка волнующейся, если без затей, попросту говоря, оказался под крышкой (безо всякого, понятно, намека или указания на то со стороны Вень Ваныча, Вень Ваныч, правда, и не помышлял о таком) без всякого уведомления на гробовую, гм, крышку, или напоминающую видом своим о ней. Но, правда, словно запаянный... Вениамин Иванович улавливал даже запах канифоли и олова... Да чё там, чё там, в стеклянно-свинцовом гробу лежал, под светоносной плитой, весь в перламутре, как бы даже в глазури, помпезный и пышный, и оттого пребывал, верно, в сладостном и в некотором роде прекрасном ужасе.

То есть сладостном, если иметь в виду, соблюдать и длить изначально возникший в мозгу Вениамина Ивановича ряд кондитерских опре-

делений, прилагаемых обычно к лакомствам; прекрасном же – в виду красоты необычайной, закутанной в неё. Вениамин Иванович прямо млел пред видом грандиозной сей гробницы, создавшейся в очах Вениамина Ивановича, немислимой, озираемой им с ужасом, прям плакал пред сим очаровывающем его зрение фантастическим вымыслом.

Как хотите, так и понимайте. Да. Под вымыслом изнемогал Вениамин Иванович, взошедшим над ним и придавившим его (в обход гравитации) некой, якобы несуществующей – феноменальной, трансцендентною (существует она, существует!) – тяжестью.

Да, да, под грёзой сгибалось существо Вениамина Ивановича, грёзой, пущенной из себя же, соткавшейся над ним из нетканой умственной пряжи или паутины, как из паучка.

Да, се сотворил Вениамин Иванович Голубь, сей сияющий морок, Вениамин Иванович, пачкун, живописец Его императорского Величества, иллюстратор апокалиптических книг.

Правда, загляните в подвал к Вениамину Ивановичу. Там, в закутке, за картошкой, рядом с надушенными бумагами (письмами), адресованными мироносицам Господа Иисуса, с намалёванными на полях розами, как живыми, такого искусства достиг Вениамин Иванович, – изображения роз (отчасти, верно, в виду нетления своего) иногда даж шевелились, слышно было даж, как розы дышат, свешиваясь за ограды из виньеток, так что расцветал весь подвал – такой неземной каллиграфией, таким несказанным садом, – так вот, там, за ними, письмами, ещё дальше, в углу, затканном, на этот раз, натуральной паутиной, затаилось до дюжины или даже двух дюжин иных сочинений, страшных, писанных углем и чёрною тушью, иллюстрированных адскими красками.

И эти творения тож сами по себе волновались и напрягались в подвале под давлением смыслов, пошатывая уже само здание (в котором жил Вениамин Иванович), прободая фундамент, чтобы выйти наружу... Сих творений избегали, сторонились даже крыски, – пробовали грызть и точить, зубки выпадали... Венечка се сотворил, Веня, завзятый курильщик и пьяница, русский художник, одна шести – (или семи?) – миллиардная человечества, крупика, песчинка... – что же там, надо всем человечеством, которое ведь тоже воображает и мыслит, что стоит там в небесах за вымысел?.. Что носится у нас над землёю? Над

миром? Какие картины? Что за писания?.. Боже, какие у нас творения под ногами...

Господи, как бы они там все не задохнулись, забеспокоился Вениамин Иванович о горожанках. Но думать ему уже было некогда...

12. СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

Город летел на Вениамина Ивановича!

Начиная от окраин и до самого центра... От железнодорожных акведуков с цинковыми ангарами за ними и до линий электропередач с гигантскими мачтами над пустырями. Башенные краны, перетяжные столбы троллейбусных и трамвайных линий, остовы заводов, трубы котельных, памятники, здания банков и госкомпаний, блистающие гранитом (это уже в центре), театры, библиотеки и литературные музеи, даже Дом литераторов над Орликом (верно, вместе с запозднившимися там писателями), архитектурные ансамбли пенсионных и прочих попечительских и благотворительных фондов, общественных учреждений, судов, палат, фронтов, партий, Союзов, Советов и Собраний, прости господи, со всеми начальниками (они, как обычно, засиживаются), даже Главпочта в конце Болховской, слева улицы, и справа через площадь массивное здание Обладминистрации (боже, с губернатором, похолодел Веня, с помощниками, и эти допоздна работают), наискосок же и вниз – Мэрии (там депутаты), даже сии столпы (мы о зданиях), можно сказать, шедевры (архитектурные), будучи облиты стеклом, чудовищно так надувались, ломаясь колоннами, и – лопались...

Вениамин Иванович глянул на город и прикрылся (чтобы защититься от него) руками. Господи!

Стёкла взвивались вверх...

Живописец даже задрал голову к небу, чтобы определиться, как высоко летают осколки, но не сумел, то есть определиться... Не хватало зрения...

«Как же так, – пришел в недоумение Веня, но только на мгновение, на мгновение, но всё же успел подумать Веня: – сколь хрупкие (как оказывается) строения, сколь ненадежная система, возведшая их... Да это всё липовое... – догадался Веня... – Оттого и лопаются здания... Падают институты... – обобщил Веня. – Ну конечно – строения изначально дутые... – мелькнуло в голове у Вени. – Как и система... С того, с того, значит, и то, и другое сыплется».

И вдруг Вениамин Иванович задрожал даже от какой-то неосознанной радости, от какого-то восторга дикого, от хмеля, бросившегося в голову Вениамину Ивановичу. Что же ты, Вениамин Иванович дрожишь? Чего радуешься? Что ты, против государства? Противу опор его?..

Дело в том, что Вениамин Иванович различил, как со зданиями, которые взлетали кверху, с обломками, летающими в высоте, между прочими разными вещами, типа папок, дыроколов и даже папье-маше для промокания бумаги, в такой вот перемещенной небесной канцелярии кувыркаются и плавают в воздухе стряпчие, преторы, фискалы, нотариусы и судьи, замы мэра Орла, надо полгать, вместе с мэром, и, понятно, помощники губернатора, зараз с губернатором, то есть даже высочайшие из чиновников поподнимались в воздух, – и каждое существо (существо, потому что в высоте они напоминали собой ну как есть насекомых), и вот, даже самое мелкое было при брюшке... Так Вениамин Иванович не обратил бы внимания, но они зачем-то оглаживали брюшки руками.

«Отъели. На слёзках народных», – чуть не заплакал Вениамин Иванович.

Да, да... И отчего-то все были – в востроносых, узких и длинных туфлях с задратыми кверху носами («ага, самых дорогих, значица, туфлях», понял Вениамин Иванович). И все летали, хм, при костюмах и, как один, при галстуках...

«Зачем им галстухи, в сам деле, при таком-то столоверчении, то есть в такой ситуации, – также подумал Вениамин Иванович, – удавятся ведь. И... как бы штаны им не пощёргивало от завихрения воздуха... Как бы не подсувало... Как бы конфуз не случился, – забеспокоился даже Вениамин Иванович. – Депутаты и – голые, голожопые то есть, – уточнил про себя Вениамин Иванович. – Партийные, богатеи и – голоштаные... Чё народ-то подумает?..»

Народу не было...

Вмёрли, наверное, все под стеклом.

«Задохлись», – ужаснулся Вениамин Иванович.

При этом, правда, Вениамин Иванович подленько так, а всё ж таки радовался... Прямо дрожал. Похоже, вправду, от великого удовольствия. Похоже, радость от катаклизма, случившегося с чинами, пересиливала недомогание от падежа народного (Веня нередко и до сих пор ещё мыслил в категориях крестьянина, который возится со скотом). Что же, и впрямь, маленький вот человек Вениамин Иванович, а радость

у поганца-то большая. Дык, Веня аж раздувался от радости, озирая барахтающихся в небесах фискалов. Жалко, что один... Один... На всём, на всём белом свете радовался один Вениамин Иванович... А больше, верно, никто не дожил (там, под стеклом) до сего зрелища, прям употребительного... И толики радости никому не досталось...

Ай-я-яй! Ах, Вениамин Иванович, Вениамин Иванович! Да правда, как не стыдно Вам, Вениамин Иванович! Как-с кровожадны вы!..

Хотя...

«А больно им там – кувыркаться-то, – невольню и чисто по-человечески содрогнулся Вениамин Иванович. – М-да. Бедные!..»

Нет, слабый человек Вениамин Иванович. Пожалел-таки...

Так горько содрогнулся о них Вениамин Иванович, что даже я расслышал в ту ночь сие содрогание. И вот записал.

О прочем он тише, должно быть, думал.

То есть не могу знать, о чём таком, о разном и прочем, ещё подумал Вениамин Иванович.

Однако...

Будучи в каком-то совершенно неестественном (ещё раз напомним) раскоряченном положении, когда одна нога в яме, другая в воздухе, тулово вперёд брошено, голова же назад вывернута и к тому же задрана кверху, ну кто может этак, кроме Вениамина Ивановича, Вениамин Иванович, наконец, шлепнулся головой оземь, лицом вниз, прямо в сыплющиеся на мостовую и за шиворот ему осколки.

Вениамин Иванович даже успел заметить, как зазмеилась трещинами мостовая, как шатнулся мост (перед тем, как тоже взлететь?), как бритва, чиркнув о плитку и оставив на полотне огненный след, брызнула искрами в пустые его (как и без того мерещилась живописцу) глазницы.

Определенно, искры – живые (как те же розы, которые малевал Вениамин Иванович, как всё, что выпиналось у него из головы, влетая обратно), живые, живые, мелькнуло в голове у Вениамина Ивановича, потому как он мгновенно почуял, как те ввинчиваются к нему в глаз, устремляются вглубь черепа, в самый мозг.

Самое важное и дорогое у живописца – глаз, и уже оттого одного он всегда у живописца страдает. Бесперывно и безостановочно. То есть не нужно тут ничему удивляться. Что вот опять, дескать, у живописца жжение. Опять – воспаление сетчатки. И – новые видения. Житие

художника, оно и вообще есть одно и нескончаемое видение и страдание.

Вениамин Иванович всхлипнул.

Закатав веко, Вениамин Иванович залез в пустой, то есть извергнувшийся из себя ещё прежде, по Вениамину Ивановичу, глаз, дабы вынуть оттуда впившуюся под веко последнюю напасть – микробу, железную, значит, но – безусловно и определенно живую, что-то вроде огненной спирохеты, чреватой безумием.

Микроба не давалась. Жжение усиливалось. Глазная полость заволоклась влагой и дымом. Как обычно, как это уже случалось у Вениамина Ивановича и как это вообще водится, огонь перекинулся с одного на другой глаз (эффект синестезии). Пожаром охватило целую голову. Языки пламени вырывались наружу, опалая ресницы Вениамину Ивановичу. Самый воздух горел, завиваясь на волосе! Да что там, – целый город утонул в адском пламени, непосредственно на ресницах глаз у Вениамина Ивановича!

Однако ж замечалась некоторая дисгармония ... Что-то было не в порядке с композицией... Тёмен и глух горизонт... Да и интерьер (по хамски прямо так) и как-то невпопад смещён (по цветовой гамме) и даже скособочен, гм... Невыносимо!.. Нестерпимо даже для изъятых из глазницы глаза... Такая несусветица, невнятица, чересполосица, петрушка свинячая.

То есть, если даже и рушиться миру (с подразумеваемым и неперменным последующим его возрождением, воскрешением и просветлением человека), то отчего же некрасиво рушиться?.. В самом деле. В искусстве даже ужас прекрасен, исповедовал Вениамин Иванович. Что до реалий, то ежели в них что-то не так, не следует ли их подправить?..

Определённо!

13. О ТВОРЕНИИ В КРАСКАХ И СВЕТЕ. МОМЕНТЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Вениамин Иванович выхватил из кармана краски!

Сменил бритву на кисть...

Смешивать цвета было некогда...

Кусок картона в заднем кармане комбинезона – размером на целую ягодицу – никак не отвечал масштабу творения. Да и вообще задаче и смыслу предстоящих художественных мани-

пуляций. Катаклизм, право же, требовал некоего универсального и всеобъемлющего полотна. Грандиозной рамы! Таковым могло быть только само бытие. Собственно, только сама натура!

И, кстати говоря... Вениамин Иванович вообще предпочитал прочим яркие будоражащие воображение краски – киноварь и краплак, жженную охру, на данную минуту как нельзя более и соответствующих моменту. Словом...

Макнув в баночку, живописец взмахнул кистью, будто кропил. И брызнул! и обогрил! будто человеческой кровью мазнул мостовую! Да в другой раз, и на третий! Мост, Александровский – как на крови – встал!

Да! Вениамин Иванович малевал чистыми красками и – по натуре... Таким образом, значит, совершенствовал, преображал и как бы пересотворял природу. То есть – цветами! Ещё лучше и проще сказать – светом! Ибо, известно, пересоставляясь и смешиваясь в оттенках (в длине, в частоте волн, в энергиях фотонов) свет превращается в цвет. Светом Вениамин Иванович пересотворял мостовую, далее город и мир! Бесспорно, в формуле сей есть некий привкус обмана, намёк на искусство, как на иллюзию, шарлатанством, якобы, занимался Вениамин Иванович. И, дескать, город как был, так оставался, не меняясь. Никак нет. Не нужно спешить. Менялся. И даже чудовищно и зловеще!.. Обязан сказать – феерично как-то, фантастически, ну просто бесподобно, так жутко красиво!..

Главное же, что сам Вениамин Иванович имел в том решительное убеждение.

Ибо, прозревал Вениамин Иванович, всё, что ни творится в мире, ни деется что (лучшего), всё (решительно) идёт от озарений, внутренних. То есть, – ежели перевести, – как следствие света внутреннего, света духовного. Тот же от Господа. Мысль, она проявляется несколько позже, чуть запаздывая, самовываясь из осияния, будучи также, само собою, от начала заключена где-то в сердцевине возносимых изнутри ореолов. Далее трансформируется и протупает в слове, которое может быть запечатлено на бумаге, перенесясь на неё из головы в виде уже вполне даже вещных и, пожалуй что, вещих знаков – зримых фантомов некоего будущего – буквоиц, нотаций, формул и чертежей, те же преобразуются в поэзию, музыку, в строения и механизмы, которые все – суди сам, слышу я голос Вениамина Ивановича, – там, изначально, уже пребывают в предивном свете. Он же, Вени-

амин Иванович, минуя сии фазы – рисовал и творил сразу, сходу – светом. Да. Такие вот пряники. Вениамин Иванович, как бы это сказать, попросту – чудо-творил! Без всяких транскрипций там и метаморфозов, типа куколок. Если нужно было, бабочки вылетали – ну – прямо из головы у Вениамина Ивановича, даже не из под кисти, кистью он подправлял им трепещущие овалы. Глазков добавлял, многоцветия, вообще драгоценностей, мигания, пыли ... Вспыхивая шелками, они садились на волосы к Вениамину Ивановичу, крутились над его головой и вокруг ея, – женщины вздыхали... Веня тоже вздыхал и дыханием сбивал бабочек к дивам, к локонам и завиткам их, на затылки – дюжинами цветных заколок.

Жизнь, собственно, затаившись (будучи всегда там), возникала и распускалась в неких неисповедимых далях, открываясь в голове у Вениамина Ивановича, расцветая в занесённых Вселенским ветром – зёрнах, плодах, гранатах премирного света, которые взрывались в голове у Вениамина Ивановича, озаряя её и, случалось, разрывая на части... Голова, бывало, пылала! Но не сгорала... Веня смущался духом. Правда, как это что котелок у него не оплавился? Не спеклись сосуды? Не замкнули синапсы... По идее от мозгов у Вениамина Ивановича должны были остаться лишь угли.

Да так вот. Больше того... Вообще...

По ночам Вениамина Ивановича нередко преследовал всё один и тот же как бы священный сон. Да.

Снился ему пророк Моисей в пастушеской хламиде, с испугом вззирающий на огненный столп, бьющий из среды тернового куста в лёгком дыме белых цветов. Цвет не опадает от огня – вопреки закону... Напротив, цветы сияли нежней и ярче. Воздух покачивался. Гора же выше куста лежала, будто в снегах, сошедших на камни, так освещающая, только вершины утопали в синих (предвечерних) сумерках. Даже руна сгрудившихся за пастухом овец горели, как арктический снег, такими сияющими валунами. Паче ж всего и страшно делалось Вене от сияния лица Моисея, павшего на колено перед столпом и прикрывающего лицо руками.

Отчего-то не на столпе, именно на лице Моисея застревало внимание Вени. То есть на человеке... Потрясенного сим неисповедимым светом. Оно так нестерпимо и страшно сияло. И страшно делалось Вене за Моисея. Как бы тот

не вобрал в себя больше, нежели мог или чем было дозволено Моисею, света. Веня и во сне знал – не может быть сожжена плоть Моисея. Нетварный огонь не сжигает плоть. Но... дух... как бы не пошатнулся ... Как бы не свихнулся, как бы умом не подвинулся тот.

С тем и просыпался Веня, со сладкою ломью в висках, с головой, полною света, белыми цветами – как сад...

Жизнь, бытие человека в голове его, голова ж – это не пещера Платона, нет-нет, а если и пещера, то она у Вени в цветах и в снегах, и сама как лампа. Такой вот светодиод. Ну просто, скажем, подсолнух. В середине которого самый-самоё свет, который превращается в солнечный – цвет солнца...

И так не однажды, восставши от сна, Веня долго ещё ходил, преследуемый сим нутряным сиянием! Никак не исходило оно из головы, случалось, ослепляя его, методом как бы обратной рефракции, с иной, нежели этот свет, стороны. Таким вот, то есть натурально, оптически перевёрнутым фокусом обладало зрение Вениамина Ивановича. И сам Вениамин Иванович был извёрнут – как световидец. Как преобразователь горнего (который, как бы это сказать, делался чревным, что ли) света. Тот, случалось, не отступая, напротив, разгорался с неодолимой неугасимую силой, так что Веня безумел, огонь будто и впрямь сжигал Веню. Случалось, Веня даже сбивал с головы языки пламени... Смахивал с ресниц тиховойные всполохи... Как бы самые косточки Венины голубели, ибо чрез них от головы и до пят, через пятую разряжаясь в землю, пробегали тонкие молнии, прободая наскрозь Веню. Млел от просветления Веня. Однако же нет, нет, да и взглядывал на ступни, на костяшки пальцев – не схватились ли в угли? Не стал ли Венечка сажей? Кого это там, как солнце, спалившееся, на черных, как сказано у поэта, носилках несут? Что-то такое виделось Вене... Бессознательно, тайно обирал себя Веня руками (да, да, и такое случалось), стыдясь того, что он делает, ибо так обирают себя только покойники, те, кто уже в дороге... Прибирал, дабы в аккуратности некой, в некой прибранности предстать перед миром иным... Но... Нет! – вскрикивал даже Веня, – он цел и целёхонек! Невредим! И вдруг содрогался, подавляя в себе рыдания. Заходясь от счастья! Даже не то, что не почернел и не обуглился! Веню схватывал восторг высшего знания!

Неопалимый (!) – огонь, – холодел Веня, – горит в мирозданье его головы, вообще в человеках!!! В самой плоти его! В родименьких косточках! Вот как! Вот что! – содрогался Веня. – Поэтому он и не сгорает! – И вздрагивал от сего совершенного, от последнего и высочайшего знания, обретенного им, наконец.

О, когда бы вы знали, как при этом трусился Веня, как мелко-мелко содрогалось низкое существо Вениамина Ивановича. Собственно даже не от разрядов, так сказать, венценосного света, которые пробегали по его жилам, но от одной мысли о наличии в нём сего света – нетварного (скажем без обиняков, следует называть вещи своими именами), как цуцик, как пёс, значит, дрожал Вениамин Иванович, соглябаясь под сей, под неисповедимую ношей, изнемогая... Падал Вениамин Иванович, слагаясь пополам. Бухался коленами на мостовую. Жутковато было Вениамину Ивановичу. Ибо мысль в себе такую носил, что с сим нетварным испускающимся из него светом одной волей, одним духом способность к творению имел... Дрожал Веня, а желание имел! Рыпался... То есть натурально – дуновением света, мановением ресницы – заставляя возникать предметы! То есть как бы из небытия вызывать их. О Бог мой!

Спятил, Веня?!

Веня, ну ты – зарываешься! Занёлся ты, Веня!

Ну вот, моргнул там, скажем, глазом, левым (тем не менее настырно так размышлял Веня), а перед правым тут же кисетик для табачку сшитым алым сердечком по зеленому в бархатах полю нарисовался. Али ореховый с янтарным ободком (а в ободке золотая муха) мундштучок для папиросок-самокруток. Щёлкнул пальчиком перед губками дамы (но чтобы губки непременно стояли бантиком), как тут же флакончик с духами образовался. Нюхайте на здоровье и для личной улады!

Это, знамо, для начала... Поупражняться, и только. А дале... Правда, заносился Веня! Так что и сказать неудобно. Да! Собирался Веня перестраивать мироздание!..

Шутки в сторону, господа!

Уже почти получалось у Вени. Желал Веня, чтобы вспыхнули над Орлом две-три (пять или семь) звёзд, новых (да сколько угодно) и крупняком, чтобы светили прямо над Вениным домом, над садом, чтобы на воду у церквей, Михаила Архангела и Богоявленской, падали и светились

в воде. Между золотыми маковками. Над золотыми крестами!

А ведь, ведь всенепременно встанут! – имел внутреннее убеждение Веня.

Веня иногда уже даже различал их, как они нарождались. Видел, как они всходили из его головы.

Ей-ей! Вот-вот совсем должны были нарисоваться! Вспыхнуть! Чудным светом пролиться. Сиянием света волосы Венины шевелить, даже под кепкой.

Когда б не сей случившийся (в голове? Наверное, в голове у Вени) апокалипсис... Уже б сияли... И от сияния их волновались бы волосы у Вениамина Ивановича, то есть всенепременно б уже...

Но вот же что-то случилось с головою у Вени. И вместо звёзд Армагеддон над головою у живописца. То есть чудится Вене, будто бы произойдёт... Что Веня вляпался (то есть вовлечён) в начало, в некий только нарождающийся грозовой фронт, в сердце только приурочивающейся, но неизбежной и страшной битвы...

Конечно, может, только местного, так сказать, значения и разлива, в виду личной и головной Вениной смуты, в виду его алкогольного преизбытка и непотребства (в особенности по четвергам почему то; бывало, правда, что и по пятницам принимал Веня за воротник, то есть с особым каким то рвением и усердием, чёрт знает почему и как), в виду аморального его поведения и сумасбродства (разразится битва), по причине умственного и даже чрезмерного напряжения и расстройства (случалось, правда, что до горячки), в виду, наконец, творческого гения Вениного и связанного с гением безумства, вообще сумасшедшего и всё убыстряющегося темпа и ритма человеческой жизни.

Как если бы орловские граждане все (включая дамочек) попереживались на коней, воссели и – разом теперь скакали, галопом, как генерал Ермолов на энтом вздыбленном жеребце... А... любопытно... хм... Что правда, что ли, что девицам в Орле весьма дж сладко гулять под феноменальными этими конными яйцами, то есть не преминул, в настоящий момент, подумав Вениамин Иванович, надо б тогда и кобыл понаставить в Орле, додумал ещё Вениамин Иванович, встрял мыслью, то есть между прочими разными и не без-спорными мимолетными и безостановочными мыслями, правильной, акциденциями, нередко уточнял Вениамин

Иванович, то есть случайными мыслеформами, роящимися в его голове, словом, встрял мыслью в скаканье – променадом дамским под конными яйцами с – присовокуплением (точнее, поставлением) на постамент кобыл, чтоб мужики, выходит, под ими прохаживались. О, как загнул! Однако же пошлости в сторону.

Придет час, говаривал Веня, и при таком галопе и ветре, при сём неумолимом скаканье... Прервёмся на минуту... Заметим, вообще-то под скаканьем Вениамин Иванович подразумевал явление прогресса, да, возрастающего на глазах у Вениамина Ивановича, как бы это сказать, вот, со свистом, с невыносимой даж для глаза и счёта прытью и скоростью. При такой скорости люди сделаются (впрямь) сумасшедшими, не в себе несколько, спятят, иные ж впадут даж в ярость, некоторые же в депрессию, сделаются совсем тихие, как мёртвые, то есть от интенсивности жизни, от одной интенсивности впадут в такой депрессивный морок, утверждал Вениамин Иванович. А некоторые, прибавляя он, станут блаженными. Тут Веня многозначительно молчал. То есть от преизбытка, говорил Веня, внутреннего (нутряного) света. И при этом он сам ну прямо светился весь так и сиял. И что же, разумеется, конечно, что с ним соглашались. Только эти и выживут, присовокупляя Веня. То есть в виду само- (точнее) светодостаточности их, наставлял он. Ибо будут иметь пищу от света, и житие их есть житие в духе, то есть в не зависимости от сего, от профанного, ну, низкого мира, в некоторой раздумчивости, как бы пробуя на зуб чужестранное слово, говорил он. И как человеки, наиболее пострадавшие от мира... За слово пострадавшие, уточнял Веня, и всем делалось ясно, что Веня один из этих – живописец, правда, при этом немного смущался, бросался даж в краску) – ну, из святоотеческих мучеников.

Ах, продолжал Вениамин Иванович, это же так просто, с чего энтот стресс. С «технологической сингулярности»... То есть так вот разъяснял Веня. С чрезмерного, значица, развития, превышающего всякую меру, от жадности человеческой. С неё сия «сингулярва»... Нужно сказать, Вениамин Иванович вообще любил щегольнуть каким-нибудь футурологическим термином, в данном случае, он щеголял курцвейловским. Как следствие – цивилизационный взбрык и такая всеобщая суматоха, быдто бы кони понесли, ххх, целое человечество... Далее сдвиг, по фазе. То

есть самих человекoв. Ну и само собой системы, тоже. Система встанет с ног на голову. Человек же изменится (подменится... чипом, в данном случае). И Веня далее пускался в еще более умопомрачительные дальнейшие пространные рассуждения...

Господа! Объяснять дальше – дольше, нежели жить. По честному, в Орле один Вениамин Иванович врубался, скажем, в идеи сэра Ричарда Пенроуза или Стива Хокинга, или того же Курцвейла, мировых светил математики и физики. Просто скажем: это когда жизнь так летит, понукаемая наукой, как и сама та, летящая в геометрической прогрессии, захватывая с собой всё прочее, унося в бездну, в неизвестное, бог знает куда, зачем, для чего, таким боком, бесом, колесом и юзом, когда уже и жизнь не в жизнь, не узнается, не признается за жизнь, так быстро, даж жутко летит, столь скоротечно меняется, что превращается в иллюзию, м-да, и – смерти мимо пролететь можно...

Словом (утверждал Вениамин Иванович, опять же) мир так, от, несётся, что превращается в свет...

И с этого боку тоже... С какого не подкатись... (А всё к свету приходишь).

Вся эта мешанина со всеми её нелепицами, что бы там ни было, была как-то и тем не менее по своему весьма гармонизирована и даже в таком бюрократическом и совершенном порядке уложена в голову у Вениамина Ивановича с немалым к тому же искусством, что некоторые, которые были в курсе, весьма даже дивились и хватались за голову. Словом, у Вени было своё – (непререкаемое и непреложное) учение. Нет учения – нет человека, утверждал Вениамин Иванович.

Веня даже разработал свою светоначертательную, наподобие неевклидовой, как некогда математик Лобачевский, геометрию, только что вместо точек и линий пользовался (и не на бумаге, а прямо в голове) лучом и светом, на место точек ставил фотоны. Вообще, говорил Веня, элементарные частицы, это кубики, на которых стоит, которыми строится и на которых и зиждется мир. С помощью элементарных частиц, выскакивающих прямо из головы, из собственного, значит, материала и напрямую, бесконтактно, то есть, с одной стороны, непосредственно, с другой, как бы методом дальнего действия, и собирался Веня перестраивать мироздание, совмещая в строительстве, казалось бы, противоположные и несовместимые

принципы. У Вени же совмещалось. В этом и была заслуга Вени. Таким образом концепция у Вени была сугубо материальная. Веня знал, что делал и чем занимался. Веня за версту даже отвергал любую псевдонаучность и псевдоученность. Очень не любил шулеров и шарлатанов. От так...

Люди, правда, частично и отчасти как-то и уже изменились. И невозможно понять, в лучшую или в худшую сторону. Но факт, что стали другими. Веня не раз даже замечал таких же, как он, неприкаянных и сияющих, гуляющих по бульвару, местных, определенно, а нередко приезжих, даже из других государств, шляющихся по миру, однако ж по какую-то другую его сторону, возникающих с какой-то другой стороны, стремящихся же почему то в Орёл... Появляющихся как бы из ниоткуда, из ничего и направляющихся в никуда, вдруг исчезающих. Будто не люди, а призраки по Орлу шатались. У булочной. На пяточке между кинотеатром Победы и райкомом коммунистической партии наискосок от дуги с цветочной клумбой, полной фиалок. Иногда толклись под арками в подворотнях. Фланировали по мосту, на виду прямо, на всеобщем то есть обозрении. Как бы нарочно так выставлялись. Как та мёртвая, что была всех краше, здесь, на мосту, так, во всяком случае, утверждала Тamar Михайловна и так для чего то припоминалось Вене. Люди, вправду, как бы не от мира сего. Но не ясно, к какому сами принадлежали миру. Может, даже вообще не имели никакой принадлежности... Принадлежность их невозможно определить было. Как будто молча ждали и даже требовали чего-то, будто взыскаю к кому-то, такое вот выражение в глазах имели... Но того, кого ждали, ни на мосту, ни в подворотнях под арками не было... Нигде... Но они для чего-то упорно и тихо ждали... И чему-то своему следовали. Правда, Вене иногда чудилось, будто он насквозь, то есть сквозь уплотнения проникает этих человекoв взглядом, как если б взгляд не задерживался ни на чём, – не в чем было...не обнаруживалось у них плоти... Просто собирались будто бы души в Орле... Кучковались, толпились тут и там... Переносились в другое место... И вновь образовывались, там, где было исчезали... Будто что-то подготавливалось... Что-то экстраординарное... Особенно беспокоила Веню та,

чудящаяся ему в них, некая инаковость, связанная с их мнящейся Вене прозрачностью. Будто они состояли, опять же, из чистого – (как бы даже не из физического) – света или – воздуха, из одного. Одежды ж на них лишь прикрывали их (физическое) отсутствие. Не случайно иные из них набрасывали капюшоны, ну, на головы (но для чё же при свете дня?), верно, тоже чтобы как-то обозначить их наличие, то есть голов. Господи, чего только и не чудилось Вене!..

То есть, запинаясь на том Вениамин Иванович, что он не один такой, сомнительный, как бы сам себе мнящийся, с головой, стоящей, как лампа, сам собой очарованный и потрясенный, и однако ж в смущении – что там, в самом деле, ежели издали взглянуть, что у этих «гостей» видится сквозь внешние пелена на просвет...

Сдавалось Вене... При том способе и интенсивности мозговой жизни, со скоростями, которые превращают человека в мнимость, а вещи и даже самоё жизнь и собственно движение в иллюзию, когда кажется, что ничто не движется и стоит (так быстро всё движется, так мимолётно и мимо, мимо проносится), что человеки, правда, делаются фантомами.

Блаженные же, те, верно, те уж точно превращаются в свет.

А головы их в светильники.

Неопалимые...

Это определенно...

Что до Вени, то он, конечно, при интенсивности его жизни, должен сгореть. Всё-таки. Конечно, есть, есть и в нём этот дивный и чудный несгорающий свет. Но лишь толика... Её, верно, достаточно для творения. Но всё-таки, всё-таки слишком мало, чтобы не превратиться в пепел в акте творения... Ибо Веня – это всё же и ещё только – стихия. Это земной огонь. И оттого, господа, как бы вы снисходительно не относились к Вене, обязаны понимать: творчество Вени есть акт и момент самосожжения. То есть с выбросом колоссальных энергий и световидных картин, созданных воображением, иные из которых, впрочем, сходу являются как воплощения.

Собственным состоянием Веня проецировал на всех человекoв. Все от одного корня и под одним знаменателем. Вот почему, подозревал Веня, такое же невозможное и впрямь сиятельное (тем не менее) напряжение, как вот у Вени (до дыма и замыкания в голове, когда пробивает обмотку), такое же и с неизбежностью, только

подойдут сроки, установится и в прочих и даже самых плоских, по выражению Вени, обычных, значаща, как у него, смиренно думал Веня, человеческих головах. Тем не менее. Да. В подавляющей части голов. Даже во всех сразу. То есть от демонов перенапряжения.

И что же?..

А то...

Придет час, в головах пробьёт изоляцию и обмотку...

Видения вырвутся!.. Бросятся наружу! Из голов вон!

Веня слегка прынул!.. Заозирался Веня. Слегка содрогнулся Вениамин Иванович!

То есть как бы от скопища выбросов, вставших перед ним, перед его потрясенным взором.

Ей, ей, выпнутся и взойдут из голов...

Над городом. Над миром. Над целой Вселенной! Стойма станут! Да вот над тем же Орлом!.. Все капища, все идолы и кумиры, которые грезилась человекам. Все кошмары!

Все призраки. Все мороки.

Все сны человеческие... Сладостные... Волшебные... Золотые... И те, вздымающиеся из самой бездны, запертой до поры, имя которой Аваддон, со всеми сидящими там на цепи чудовищами... Впрочем, сам Вениамин Иванович был в убеждении: понятие бездны – это метафора. Сам Аваддон заперт, накрепко заключён в головах человеческих, не вырвется...

14. ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

Вениамин Иванович попытался подняться с колен. Как в суставах его что-то хрустнуло... Нет, определил Веня, щелчок сделался в голове. В голове что-то запнулось и посыпалось искрами. С неким таким характерным электрическим треском. С химическим таким специфическим запахом. То есть от нового возгорания. Замкнуло всё-таки, понял Вениамин Иванович, теперь определённо и в самом деле. Пробило обмотку. Не выдержала изоляция. Вениамин Иванович не успел даже как следует испугаться. Голова наполнилась всамделишным дымом.

Что такое?..

Вениамин Иванович прислушался...

Характерный странный, вроде с теми же искрами, треск исторгся из других мест, слева и справа, поперед и позади (и даже над головой, хм) Вениамина Ивановича, как если б искрило по всему городу (и над ним). Ну да, рвало изо

всех голов, со всех даже улиц, из среды вздувшихся и надорвавшихся уже там и сям, здесь стоявших прорехой, там худо бедно ещё целокупно и торчком, но уже валяющихся, частью взвивающихся и рассыпающихся в воздухе зданий. И, всё правильно: – между обломками в автономном режиме летали, верно, сорвавшись с туловищ, подвинувшись от боли, конечно, совершенно уже спятившие (тем опаснее), совершенно и безусловно – свихнувшиеся головы, в прекрасном сиянии (как-то даже сводившем с ума самого Вениамина Ивановича).

И, не исключал Вениамин Иванович, прислушиваясь – (слух у Вениамина Ивановича, знаете же, был таким же острым, как зрение, и Вениамин Иванович явственно различил) – феерию ото всех мегаполисов, и даже всех континентов...

Словом. Человечеству (целому!) сорвало голову, то есть обмотку...

Вениамин Иванович побледнел.

Вень Ваньч задрал голову кверху...

То есть Веня нервами чуял, как восходят к небу энергии, вырвавшиеся из замкнувших голов.

Так, знал Веня, разряжаются головы мёртвых, – подобно атомному генератору, – даже наука запрещает стоять у них в изголовье...

Небо взялось как бы крапом от такого посева, от энергетических всходов. «Перед жатвой...» – придрожал Вениамин Иванович.

Как бы спрятавшись, как бы исчезнув, словно свернувшись, – Вениамин Иванович не смог бы объяснить настоящей явившейся в голову ему метафоры, – небо развёртывалось перед его взором свитком – с письменами, как бы наносимыми на его листы человеками. И ни кем иным другим. Так вот оно получалось. С предопределённостью, патетически подумалось Вень, роковою...

И даже печати, срывающиеся с очередных листов, которые чётко проявлялись на небе, не смущали внутренней обретенной Веньей позиции.

Но прежде всего... Далеко-далеко перед Веньей обозначился как бы знак некий небесный, не то столп, не то крест огненный. И вот из под него... Показались... животные... Многоочитые...

И прошло некоторое время...

И вот... Обозначились всадники на небосклоне... И число их было четыре. Подвесься в воздухе, укрывшись за капюшонами, они неслись в беззвездном (поскольку небо свернулось) пространстве, неумолимо подвигаясь на город.

В пятом всаднике (быть же того не может, но, да, пять их оказалось, пять, и ни числом больше, и ни числом меньше), в пятом Веня узнал самого себя, по колокольчикам, да, которые на нём позванивали. И ещё оттого, что хламида из брони, брошенная на плечи его, слепила глаз царственным великолепием, княжеским многоцветьем – оранжево-апельсиновым цветом и энтим, как яйцо, взятым прям из под курицы, ослепительно белым, и третьим, немного индиговым (не цветом), светом, снежно-синим, который днесь особенно тонко, как если бы это был воздух, так тихо-тихо стоял под выбеленными извёсткой куполами Троицкого храма в Болхове, опекаемого ещё царицей Марией, супругой Алексея Михайловича, Тишайшего (Веня не так давно посещал настоящий старинный город и в нём, чуть на отшибе сей белый и дивный храм).

Веня всё понял. Свершилось...

Чего страшались человеки и чем, страшась сего, в одно время грезили и что призывали на землю, изнывая по сему, то и явилось... Иного и быть не могло... То и рвануло из голов (убеждён был Веня) и нарисовалось, соткалось и проявилось на покрывале небесном, о чём человеки думали, – как будто на саване, печально подумалось Вене... Всё правильно... История, как-то спокойно даже, философически так размыслил Веня, закрывается (то есть земная). Конец истории...

Те человеки, которых он видел в городе, те, как бы безличные, что ли, личности, словно колеблемые ветром, возникающие будто бы тени – это ведь души... умерших, подумалось Вене. Это ведь праведники, о которых сказано, что они до срока ещё соберутся... перед битвой... последней... под жертвенником всесожжения...

Значит, началось, началось уже (прежде плотского) духовное воскрешение! – едва не вскричал Веня. – По предсказанному и начертанному...

Всадники – се ангелы отмщения! Возмездия и воздаяния!

Работники, как-то по советски составилось в голове у Вени, грядущего очищения! То есть планетарного!

И он, и он с ними, заедино, Веня...

Противу саранчи! – умилился, как-то невпопад, обливаясь слезами, Венечка.

Веня поискал глазами... Так, на всякий случай... Да. Ну, Шестого поискал всадника – Манечку! Маню, сирого и убогого, озлобленного...

Господи! – покрестился Вениамин Иванович. – Ладно, он сам... Но, впрямь, как бы Манечка не оказался между демонами!..

Так весь и захолонул Вениамин Иванович. Се значит – (опять, был в убеждении Венечка, так высоко он ставил Манечку) – братоубийство и разделение... И!.. Боже, не доведи! «Отце-, отцеубийство!» – содрогнулся Венечка.

(Окстись, Вениамин Иванович. Напророчествуешь!.. Не давай вольную страшным мыслям... Они – быстрые... Как те светы... Что в твоей голове. Способные к превращениям и оборотничеству!.. Полетят – не воротишь... Мало тебе – моста на крови! Хата твоя, дом твой обольются кровью! Нет, нет ещё среди всадников Манечки. Сам ты попал к ним в кампанию, Венечка).

И куда ж деваться, думал между тем Венечка, Евангелине, Ангелиночке, Анечке, прекрасной, сравнимой с зарёй (той, молодой), и к кому ей притулиться нынешней, бедной, несчастной, болезной, безумной, патлатой, пьяненькой, страшной – Евангелине Иоанновне?!

Что станет с Мусечкой? Веня вздрогнул... Облилось (опять же) кровью и покатилося сердце у Венечки... камнем, в Оку, с петелькой на шее...

Её бы, Мусеньку, в свиту (да как пристроишь?) – к Богородице... Под омофор к Пресвятой и Пречистой... Молиться за грешников... Плакать по убиенным...

Вправду, как бы выхватить и подъять её из сей заварухи к Господу, в райские кущи – свет очей Вениных, божью коровку – Мусечку...

Топот всадников делался ближе...

Продолжение следует

